

“Дела давно минувших дней...”

23 октября 1919 г. -28 июня 1920 г.

23 октября с.г. исполнится 10 лет с того дня, как я покинул мою родину, мой дорогой, незабвенный Петербург, расстался на неопределенное время, а с некоторыми теперь уже навсегда, со всеми моими родными и с друзьями моей молодости. После 8 с лишком месяцев тяжелой, беспокойной и, временами, трагичной жизни беженца, я попал в Ригу, где окончились мои скитания и где уже десятый год я безвыездно живу. Латвия стала моей второй родиной, вплоть до предоставления мне прав своего гражданства, в Риге я нашел себе новую семью, нашел жену, спутницу моей жизни в течение уже 7 лет, и сына, увы, пока единственного. Но мой Петербург никогда, никогда не забудется, и верным ему я останусь до конца жизни.

Во время нашего беженства мы не пережили чего-либо особенного, чего не переживали десятки тысяч подобных нам, но все же теперь, после десяти лет, когда из памяти уже начинают стираться отдельные эпизоды, мне хочется восстановить это время, полное страданий и опасностей, страшное время, надеюсь, навсегда минувшее. Мои первые записки, написанные в 1920 г., погибли в Ревеле, и теперь я хочу написать их снова, написать, конечно, уже несколько иначе, оглядываясь на прошлое уже, так сказать, взглядом историка. Тебе, моя дорогая, любимая Лидочка, посвящаю я мой труд.

Время, предшествовавшее нашему беженству

После большевистского переворота материальное положение нашей семьи, как и огромного большинства российских “буржуев”, стало неуклонно ухудшаться, хотя и не сразу, а постепенно, отдельными этапами. Уже в конце 1917 г. были конфискованы текущие счета в банках как нашей фирмы, так и личный папы, а также опечатан, а затем и разграблен принадлежавший ему сейф. В январе 1918 г. был крестьянами, а частично и нашей собственной прислугой разграблен дочиста, а затем и сожжен наш дом в имении УстьКаширское Новгородской губ., которое папа приобрел-то только в 1916 г. После этого настал некоторый перерыв. Весной 1918 г. мы переехали в Павловск на дачу сестры папы, моей крестной, где ввиду все ухудшавшегося продовольственного положения в Петербурге решили остаться и на зиму, оставляя городскую квартиру за собой. В Павловске продовольственное положение было удовлетворительное, состав местного совета очень умеренный, а торговля в Апраксином дворе, остававшаяся в наших руках, давала нам необходимые средства к существованию. Но с осени повеяло другим духом. Появился декрет о национализации продовольственных, мануфактурных и обувных торговель, а в нашей торговле был введен контроль служащих, причем контролером был избран один из приказчиков, в сущности и не плохой человек, но страшно боявшийся большевиков и старавшийся в точности исполнять все их распоряжения. Прибыль нашего предприятия сразу сократилась и всякой выемке денег из дела для нужд папы стали ставиться всевозможные препятствия. Дальше последовали новые бедствия. В декабре нас в 3-дневный срок совершенно неожиданно заставили очистить городскую квартиру, разрешив взять с собой лишь самую необходимую мебель и часть библиотеки. Грустно встретили мы новый 1919г., ожидая от него новых несчастий. И, действительно, через неделю была опечатана и отобрана от нас наша торговля, со всеми находившимися в ней товарами. К счастью, кассиршей была у нас моя тетя, сестра мамы, и при попустительстве контролера, закрывшего в последний момент на это глаза, нам удалось скрыть довольно большую сумму денег, благодаря чему нам можно было существовать и в дальнейшем. Итак, мы все оказались безработными, и надо было подумать о средствах к существованию. Мне довольно скоро удалось устроиться в отделение Государственного Контроля при национализированных домах Петербурга. Служба эта, хотя и недостаточно оплачиваемая и почти не дававшая никакого пайка, была очень нетрудной, по-своему интересной и с очень симпатичным подбором сослуживцев. Тут были почти сплошь интеллигенты: бывшие чиновники, юристы, даже один сенатор, а коммунистов почти не было заметно. Кроме того, должность контролера освобождала от военной службы, что в эту эпоху непрерывных мобилизаций для многочисленных фронтов гражданской войны являлось самым важным. Папе тоже удалось устроиться на службу: сначала помощником бухгалтера при Царскосельском Совете, а затем на очень хорошее подобное же место при ферме Царскосельской жел. дор. в Павловске, где

также был очень хороший подбор сослуживцев, можно было получать дешевые обеды и очень приличный паек. Вскоре ему удалось пристроить туда же и моего младшего брата Николая, а также добыть и мне сверхурочную работу, тоже с пайком. Средний же мой брат Борис, после многомесячного уклонения от военной службы у большевиков, вынужден был все же в конце концов явиться на мобилизацию, и в августе 19 г. был как бывший офицер отправлен на командный пост в один из полков, сражавшийся в теперешней Латгалии против Латвии. Увидеть его вновь мы уже и не надеялись. Сестра Нина, вышедшая замуж в апреле этого же года, уехала с мужем в Москву и поселилась там.

Наступил октябрь 1919 г. Уже в самом его начале пошли слухи, вскоре подтвержденные и советскими газетами, об успехах армии Юденича. Пали Ямбург и Гдов, и развивалось наступление на Гатчину. Мы все, как, я думаю, и огромное большинство жителей Павловска, с нетерпением ждали развития событий. Уже в сентябре крестной и ее домашним пришлось переехать к нам, так как она была выселена из своего дома, занятого под какой-то детский приют. Кое-как разместились и коротали вместе вечера, и надеясь на приход белых, и опасаясь все усиливавшегося террора. Еще перед своим выселением крестная была арестована и провела несколько дней в заключении в Царском Селе. Угрожал арест и папе, которому удалось его избежать лишь благодаря заступничеству одного из членов Павловского Совета инженера Викторова, бывшего с папой в хороших отношениях.

Настроение становилось все тревожнее. Около 10-го числа пала Гатчина, и вскоре до нас донесся грохот отдаленной канонады, с каждым днем все более приближавшейся. В Павловске и его окрестностях появились отряды красноармейцев, грязных, оборванных, часто босых, ходивших по дачам и выпрашивавших хлеб. Встречались и наглые лица комиссаров с огромными красными звездами и целым арсеналом оружия. 17-го октября я в последний раз был в Петербурге, где также было очень тревожное настроение. Газеты были полны истерических воззваний спасти завоевания революции от "горсти золотопогонников и помещиков", мобилизовались коммунисты и рабочие и т.д. Было очевидно, что советские войска терпели поражения от этой "горсти". На обратном пути в поезде проверяли документы и шли слухи, что белые обходят Павловск и Царское. Опасаясь, что я могу быть в Петербурге отрезанным от дома, я решил пока туда больше не ездить. Вышло очень хорошо, но, конечно, не предвидел я тогда, что на многие годы расстанусь с моим родным городом, и кто знает, увижу ли я его вновь?

18 и 19 октября я работал на ферме под непрерывный грохот канонады. Ходили самые разнообразные слухи. Говорили, что красные несут огромные потери, что уничтожена почти полностью школа курсантов, двинутая против белых как последний резерв и т.д. Красные батареи стояли уже в ближайших окрестностях Павловска и Царского Села. Вечерами огонь стихал, и мы проводили их в жуткой тишине и почти полной темноте, так как машины электрической станции были эвакуированы в Петербург. 20-го огонь с утра был особенно силен и часто в перерывах доносился также и резкий треск пулеметов. К счастью, бой шел все время в окрестностях Павловска, куда не залетали ни снаряды, ни пули. Поезда не ходили уже с 19-го, газет не было, и приходилось довольствоваться слухами, часто самыми фантастическими. Всей душой желая поражения красных, мы, тем не менее, боялись это громко высказывать, так как всюду могли быть враждебные уши, и даже дворничиха крестной, например, подозревалась нами в сочувствии коммунистам. Около 4-х часов дня, вернувшись с фермы, где уже с 12 час. были прекращены все занятия, я стал на дворе пилить дрова, как вдруг грохот пушек прекратился, начался резкий пулеметный и ружейный огонь где-то совсем близко, затем прекратился и он. Настала тишина. И, напряженно прислушиваясь, мы вдруг через несколько минут услышали где-то вдали звуки какой-то старой солдатской песни. Эта песня, от которой после осточертевшего Интернационала на нас повеяло чем-то старым, родным, как-то сразу вселила в нас уверенность, что белые победили, и что Павловск в их руках. Несмотря на наступившую темноту, нам удалось вскоре достоверно узнать, что это так, что белые уже на вокзале, в который попало два снаряда, и что идет наступление на Царское Село. Николаша был даже арестован белым патрулем, принявшим его сначала за коммуниста, но затем быстро отпустившим. Вечером мы устроили целый пир при свете двух свечей (какая расточительность!), поставив на стол все, что имелось лучшего из наших скудных запасов, а крестная даже принесла полбутылки какого-то вина, чудом у нее сохранившегося. Настроение было приподнятое, радостное. Как-то даже не верилось, что эта страшная эпоха террора, произвола и бесправия осталась позади.

Наши мечты о полной победе белых, о взятии ими Петербурга, увы, не оправдались, мы вынуждены были бежать, но все же власть большевиков над нашей семьей прекратилась, и никогда впоследствии, даже в самые тяжелые времена нашего беженства, мы не сожалели о том, что ушли. А теперь в особенности, когда мы уже больше 9 лет живем хоть в маленькой, но правовой стране, не боясь ни обысков, ни арестов, ни конфискации, зарабатывая на жизнь, хотя и не очень обильную, но все же имея возможность достаточно питаться, одеваться и жить в тепле, чего мы больше года были лишены в России. Я могу только благословить этот день 20 октября 1919 г., так резко и решительно изменивший нашу жизнь и поставивший грань между большевиками и нами в лице победившей тогда Белой Армии Юденича.

Белые в Павловске

(21-22 октября 19 г.)

Проснувшись утром и быстро осознав только что совершившийся факт нашего избавления от большевиков, я поспешно оделся и вместе с папой и Николашей отправился на ферму, чтобы узнать последние новости. Улицы еще не представляли ничего особенного, но около фермы толпилась группа служащих во главе с заведующим. Мы узнали, что накануне поздно вечером было взято Царское Село и что белые продолжают наступление в районе Средней Рогатки (на полдороге между Царским и Петербургом). Сообщали также, что другая группа белых заняла Лигово (первую станцию по Балтийской жел. дор.), что третья группа стремится перерезать Николаевскую жел. дор. в районе станции Тосно, что в Петербурге восстание и т.д. Канонада действительно уже глухо доносилась откуда-то издали, и все эти слухи еще более поднимали и без того радостное настроение. Заведующий фермой Волошин держался несколько в стороне. Он, правда, не был коммунистом, но занимал, тем не менее, ответственный пост, да и особыми симпатиями служащих не пользовался, так что судьба его была весьма неопределенной. Внезапно из-за угла показались два офицера в сопровождении нескольких солдат. Необыкновенно странно было видеть на них погоны и кокарды, от которых мы за два почти года владычества большевиков успели отвыкнуть. Солдаты в противоположность красноармейцам были хорошо и опрятно одеты и производили прекрасное впечатление. Офицеры прямо направившись к Балошину и потребовали его документы. Он немедленно предъявил очевидно заранее подготовленный дореволюционный паспорт. Не хотел бы я быть на его месте в эту минуту! Но все обошлось благополучно. После краткого разговора офицеры от него отошли. Их немедленно окружили, усадили, принесли молока, хлеба, посыпались расспросы. Оба оказались очень милыми молодыми людьми, угощали окружающих давно невиданными лакомствами шоколадом и белым хлебом, но новостей сообщили мало, может быть, и потому, что сами ничего не знали. Говорили, что все благополучно, что около вокзала повешены три комиссара и что после обеда Павловск посетит ген. Родзянко. Вскоре они ушли, а мы поспешили домой. После обеда мы опять устремились на улицу. Не сиделось дома, да и прекрасная осенняя погода тянула в центр. Пошли к вокзалу. Павловск имел праздничный, радостный вид. На домах развевались родные трехцветные флаги, улицы были полны радостно возбужденных жителей Павловска, радостно приветствовавших проходившие части белых. Они производили прекрасное впечатление своим видом, английской обмундировкой, выправкой, но... были слишком малочисленны. Тогда, в этот, так сказать, медовый день не хотелось об этом думать, не хотелось омрачать общий праздник, но, увы, это было правдой, величина Белой Армии была очень и очень небольшой, в чем мы скоро и убедились. Во всяком случае день этот окончился неомраченным и мы разошлись спать полные самых радужных надежд.

Эти кратковременные надежды и восторги окончились уже на следующий день и наступили мрачные и страшные дни. Утром, впрочем, еще не было ничего угрожающего. Передавали, правда, что наступление белых на Петербург задержано бронированными поездами, и что прорыв на Тосно еще не удался, но, как и всегда, прибавляли, что все это временно и вскоре наступление возобновится. На улице были расклеены воззвания командира корпуса гр. Палена, сообщавшие о занятии Павловска и Царского и призывавшие к поддержке Белой Армии. Одновременно были расклеены приказы о регистрации всех мужчин до 45 лет. Пошел и я. Процедура продолжалась очень недолго. Меня зачислили в резерв, о чем сделали соответствующую пометку на паспорте. Но сейчас же после обеда начались тревожные слухи. Передавали, что против белых двинута масса матросов из Кронштадта и вооруженных рабочих Колпинского завода, что белые отступают и что (самое страшное) у них не хватает патронов и снарядов. Все это, по-видимому, подтверждалось тем, что отдаленный артиллерийский огонь

опять превратился в близкий, а затем стал постепенно затихать. И, наконец, часов около 5 вечера, уже в сгущающихся сумерках, я получил наглядное доказательство опасности положения, наткнувшись на уходящую пехотную часть, сопровождаемую мрачными взглядами томящихся зрителей, среди которых раздавались горько иронические рассуждения: “Ну вот и порадовались!” “Зададут нам теперь большевики перцу!” и т.д. В самом мрачном настроении вернулся я домой, где застал всех в состоянии, близком к панике. Бежать теперь, темной, ненастной осенней ночью, не зная хорошенько дороги и рискуя попасть в руки большевиков, было слишком страшно. Не менее страшно было и оставаться в Павловске, который мог этой же ночью опять перейти в руки красных. В этом случае почти верный расстрел угрожал папе, а также и мне, как зарегистрированному у белых. Положение казалось безвыходным. Оставалась одна надежда, что белые отобьются и завтра, если будет нужно, удастся уйти уже при дневном свете. В почти полной темноте и жуткой тишине, так как канонада совершенно умолкла, закипела поспешная работа. Папа вырывал припрятанные им деньги (царские кредитки и финские марки), мама и крестная шили из скатертей мешки для имущества, которое мы должны были взять с собой, а также мешочки для денег, чтобы повесить их на шею. Особых приготовлений, впрочем, делать было нельзя, так как нельзя было показать красным, если бы они появились у нас, что мы хотели бежать. Так, закончив эти приготовления, мы разошлись по своим комнатам, и потянулась долгая, тяжелая ночь.

Отступление белых и наше бегство

(23 октября 19 г.)

Как и следовало ожидать, проснулись мы очень рано и тотчас же бросились узнавать положение дел. К счастью, первые сведения были очень успокоительные. Вечером накануне положение действительно было очень угрожающим. Красные вели яростное наступление, причем дошли до окраины Павловского парка. Только героическим сопротивлением белой пехоты, поддержанной тремя подоспевшими танками (артиллерия, лишенная снарядов, должна была молчать), удалось отбить врага. Очевидцы передавали, что озверевшие большевики шли под пение Интернационала в штыки на танки, и что все поле у парка черно от курток убитых матросов. Во всяком случае, как передавали, сейчас положение опять восстановлено и бояться нечего. Николаша и я немедленно отправились на разведку. Действительно, все как будто было благополучно. Артиллерия опять грохотала (очевидно, снаряды подвезли, парк около вокзала был переполнен конными и пешими солдатами и офицерами, за которыми спокойно наблюдала толпящаяся публика. Слышались шутки, настроение кругом было веселое и уверенное. Решив, что все благополучно, мы спокойно вернулись домой и вдруг к своему крайнему удивлению встретили там картину поспешных сборов. Оказалось, что папа был только что на ферме, где было получено сообщение из штаба, что через 2-3 часа белые оставят Павловск и Царское. Чуть не весь персонал фермы собрался уходить с ними, и папе было обещано, что если мы сумеем встретиться с лошадьми фермы, то наши вещи также возьмут на телегу. И вот начались поспешные сборы. Уходила только наша семья: родители, Николаша и я. Крестная категорически отказалась, ее домашние последовали ее примеру. Много вещей брать было невозможно, так как приходилось их нести на себе. Впрочем, мы предполагали, что уходим ненадолго, что через несколько дней опять вернемся обратно. Тем не менее, мы догадались переодеться, надели на себя самые лучшие костюмы и сапоги. Пальто одели осенние, так как зимние были слишком тяжелы, но я поверх жилета одел толстый вязаный свитер, который мне и оказал впоследствии огромную службу. Собрали и наши немногочисленные ценные вещи, между прочим, я унес с собой дедовскую часовую цепочку, и теперь у меня сохранившуюся. На шею повесили мешочки с деньгами, разделенными между всеми, в мешки сложили запасные сапоги, 2-3 смены белья, немного провизии, еще кое-какие вещи. Затем все собрались в столовой, наскоро поели и надо было идти. Короткая, но очень тяжелая сцена прощания с остающимися, объятия, поцелуи, слезы и вот мы уже покинули ставший нам родным дом крестной и поспешно идем с мешками за спиной под непрерывный грохот канонады.

Вскоре Павловск остался позади и мы вышли на шоссе в Гатчину. Приходилось пройти около 25 верст, расстояние не малое. Все шоссе уже было покрыто беженцами; очевидно, известие об отступлении белых успело уже распространиться. Шли пешеходы с мешками, подобно нам, проезжали повозки, даже крестьяне гнали свою скотину. Особенно запомнилась мне одна чета (как оказалось, камергер Малама) с целой сворой породистых

премированных собак. Вдоль шоссе ездил какой-то вагонетка с небольшим орудием, непрерывно стрелявшим в сторону Павловска, там и сям виднелись грохочущие белые батареи. От страшного грохота трудно было говорить и первое время шли молча. Вскоре мы встретились с повозками фермы, окруженными служащими во главе с заведующим Балошиным и старшим бухгалтером Глице, папиным начальством. Как было обещано, нам разрешили сложить наши мешки на одну из повозок, так что идти сразу стало гораздо легче. Да и маме разрешили сесть туда же. Двинулись дальше. Навстречу несколько раз попадались грузовики, подвозившие снаряды из Гатчины. Канонада постепенно осталась позади. Настроение, как это ни странно, у всех почти было бодрое и даже веселое. Был прекрасный осенний день, дорога хорошая, и сознание, что с каждым шагом мы все дальше и дальше уходим от большевиков, придавало нам бодрость и силу. Наша "фермовая" группа держалась вся вместе. Около 2 час. дня сделали получасовой привал, немного поели, затем пошли дальше. Конечно, по мере приближения к Гатчине усталость брала свое и идти становилось все труднее. Папе удалось также сесть в повозку, а вскоре пришлось просить в ней место и для Николаши. Он второпях очень странно оделся: в папину короткую ватную куртку и мои высокие сапоги и солдатскую фуражку. И эти сапоги, бывшие ему, очевидно, не впору, так стерли его ноги, что он оказался совершенно не в состоянии двигаться. Я же, хоть и жестоко уставший, продолжал идти, придерживаясь за телегу. Наконец, уже после 6 час. вечера, вдаль показались старинные ворота и мы вошли в Гатчину. Остановились и отправили делегацию отыскивать место для ночлега. Она довольно долго не возвращалась, и мы терпеливо ждали в темноте и холоде. Наконец, посланные вернулись и отвели нас всех в здание какого-то института, мрачное, темное и холодное. Начали устраиваться. Появилось несколько свечей, слабый свет которых плохо освещал обширную комнату, где мы находились. Мама плакала над Николашей, ноги которого были покрыты множеством кровавых ран. Опять немного поели и растянулись на голом каменном полу в обществе двух десятков людей и полудюжины собак. Несмотря на усталость, я уснул не скоро и с трудом: слишком было холодно, жестко и неудобно.

Гатчина

(24-25 октября 19 г.)

Мрачное, неприветливое утро следующего дня подняло нас на ноги. Все тело болело от неудобного сна на каменном полу, было холодно и очень хотелось есть. Надо было выбираться из этого института и искать себе другое пристанище. План действий, впрочем, был у нас намечен еще во время пути. В Гатчине жил один наш крупный покупатель П.Н. Литиков, домовладелец и богатый человек в прошлом. Прежде всего нужно было его разыскать и обратиться к нему за советом и помощью. Так как Николаша почти совершенно не мог двигаться, то решили, что пока пойдем только папа и я. Отправились. Маленький, очень славный городок просыпался. Настроение в нем было очень мирное, канонады совсем не было слышно, и лишь попадающиеся там и сям типично беженские фигуры напоминали о близости военных действий. Дом Литикова мы нашли довольно быстро, и его также застали дома. Он принял нас с большим сочувствием, чрезвычайно радушно и тотчас же предложил поселиться у него. Квартира у него была большая, очень хорошая, конечно, впрочем несколько пострадавшая за время большевиков, когда, очевидно, ее нельзя было достаточно отапливать, да и часть мебели, вероятно, пришлось обменять на пропитание. После занятия Гатчины белыми Литиков был избран городским головой и теперь был занят по горло. Приходилось заботиться прежде всего о размещении и прокормлении многочисленных беженцев, нахлынувших в Гатчину из Павловска и Царского, и это при крайне незначительном количестве продуктов, так как армия своих запасов не давала, а американская помощь до Гатчины еще не добралась.

Мы быстро вернулись обратно и стали переселяться. Труднее всего было с Николашей. Какая-то сердобольная беженка, правда, еще с вечера смазала йодом и забинтовала его ноги, но они у него все же очень болели. Сапог одеть он, конечно, не мог. Пришлось одеть на него мои калоши и он кое-как поплелся, поддерживаемый родителями, тогда как я тащил на себе все мешки. Наконец добрались. Литиков устроил родителей в большой комнате с двумя кроватями, а меня в своем кабинете. Этот благородный человек принял в нас самое горячее участие. Он старался сделать для нас, что только мог, сам нуждаясь во всем, делился с нами последними продуктами, утешал и ободрял нас. И впоследствии мы встречали на своем пути прекрасных людей,

принимавших в нас самое горячее участие, но Литиков был первым, кто протянул нам руку помощи, и, кроме того, все остальные были в гораздо лучшем положении, чем он, делившийся с нами всем тем немногим, что имел сам. В последний раз мы видели его через 3 дня в Ямбурге, а затем потеряли его из виду, и вот теперь, через 10 лет, я пользуюсь случаем, чтобы высказать ему самую горячую благодарность за то участие, которое он принял в нашей семье.

Начали распаковываться и приводить себя в порядок, мыться, чиститься, бриться. Мы надеялись прожить несколько дней в Гатчине, а затем, когда белые опять перейдут в наступление, вернуться домой. Скромно пообедали вместе с Литиковым, отчасти своими продуктами, а отчасти его картофелем и т.п., чем он нас усердно угощал. Затем отправились с папой бродить по городу. На стенах домов были наклеены известия с фронта, сообщавшие об оставлении Павловска и Царского и небольшом отходе к западу. Конечно, прибавлялось, что все это временно. Зарегистрировались в образовавшемся уже беженском бюро и получили талоны на кое-какие продукты, которые можно было получить на следующий день. Затем вернулись обратно. Вечер уютно провели в беседе с Литиковым за чайным столом и рано легли спать. Так приятно было после каменного пола протянуться на мягком кожаном диване под теплым одеялом и почти мгновенно заснуть. Думалось, что все неприятности уже позади, но, увы, только теперь-то и должны были начаться тяжелые беды и лишения.

На следующий день сразу резко захолодало и выпал снег. Тем не менее, большую часть дня я провел, гуляя по Гатчине. Настроение было опять спокойное и как будто ничего плохого не предвиделось. Гулял по прекрасному парку, осматривал, правда только снаружи, большой, но мрачный дворец Павла I, с его же памятником на площади. Неоднократно встречал сослуживцев по ферме, беседовали. После полудня мы получили на свои продовольственные талоны какой-то суп и по селедке, что с прибавлением каши из купленной мамой у крестьянки на царские деньги крупы составило наш обед. После обеда читал книги из библиотеки Литикова, и так наступил вечер. Часов около 9 мы с Литиковым и его сестрой сидели вместе за скромным ужином, как вдруг его куда-то вызвали. Он скоро вернулся очень взволнованный и сообщил, что в город вступают части из отряда кн. Ливена, потерпевшего поражение на фронте Красного Села. Красное Село опять перешло в руки большевиков, весь отряд отступает, и опасность грозит уже Гатчине. Конечно, теперь вечером уходить некуда, но утром надо попытаться попасть в поезд и ехать дальше. Настроение сразу упало. Стало ясно, что о скором возвращении домой приходится забыть и думать лишь о том, чтобы спастись от большевиков и бежать дальше. Литиков между тем опять ушел, чтобы принять и распределить новых беженцев и вскоре вернулся с целым персоналом полевого лазарета: молодым хирургом и несколькими сестрами и санитарями, которых он решил устроить на ночь у себя на квартире. Появление этого хирурга явилось прямо-таки благодеянием для Николаши, так как к врачу тотчас же обратились с просьбой осмотреть его ноги. Он очень долго возился с ними, причем оказалось, что раны Николаши были на пороге гангрены и лишь своевременное вмешательство врача спасло Николаше ноги, а может быть, и жизнь. Прекрасная перевязка хирурга продержалась без перемены целую неделю и позволила Николаше проделать дальнейший трудный путь до Нарвы без ухудшения состояния его ног. После перевязки еще посидели за столом, а затем кое-как устроились на ночь, чтобы набраться сил к новому пути.

Отъезд из Гатчины

(26 октября 19 г.)

Встали, конечно, рано и тотчас же стали собираться на вокзал. Положение, по информации Литикова, продолжало оставаться угрожаемым и власти готовились к эвакуации города, хотя в вывешенных воззваниях и старались успокоить население, призывая не поддаваться панике. Медлить, таким образом, не следовало. Упаковали опять наши мешки, сердечно распрощались с Литиковыми и двинулись в новый путь. Вокзал Балтийской дороги напоминал собой потревоженный муравейник. Масса народа, так же страстно, как и мы желавшая уехать, переполняла его, а также платформы и пути. Билетов уже не продавали, но в них, по-видимому, и не было надобности, надо было удирать на чем придется. Бросились искать состав, на котором можно было бы уехать, причем везде царила полнейшая бестолковщина и абсолютно никто не мог дать более или менее точных сведений. Сунулись было в какой-то поезд, стоявший наготове у ближайшей платформы, но очень быстро были из него изгнаны, так как он оказался предназначенным для штабов и канцелярий. Наконец

после долгих блужданий нашли на запасном пути какой-то состав, который якобы должен был скоро пойти. Влезли в приспособленный для сидения уже почти полный товарный вагон, кое-как устроились, и потянулись долгие, томительные часы ожидания, так как вагон продолжал стоять неподвижно. Неоднократно повторяемые попытки узнать что-либо на вокзале оставались безрезультатными. Правда, выяснилось, что военное положение опять улучшилось, предполагаемая эвакуация отменена и некоторые уже погруженные на поезд военные учреждения опять выгрузились и ушли обратно в город. Одно время подумывали вернуться и мы, но потом все же решили уезжать, так как совершенно нельзя было быть уверенным в ближайшем дне. А поезд все не трогался, и мы все сидели и тоскливо ждали. Было уже часа два дня, как вдруг кто-то сообщил, что уйдет только передняя часть поезда, а задняя, где находился и наш вагон, останется до завтра. Поспешно выскочив из вагона, мы бросились к головной части поезда. Но, увы, все вагоны в ней были набиты до отказа, нас никуда не пускали, и пришлось со всеми нашими мешками влезть на открытую платформу, где стоял грузовик, уставленный бочками, наполненными бензином для аэропланов, находившихся на платформах впереди. Кое-как уселись на этих бочках и опять стали ждать. Дул резкий холодный ветер, шел мокрый снег и мы вскоре совершенно заоченели, несмотря на то, что мама пустила в ход все теплые вещи, вплоть до мохнатых полотенец, которыми нас укутала. И все-таки мы не уходили и продолжали ждать еще часа два. Уже стало смеркаться, когда, наконец, подали локомотив и начали с нами маневрировать. Задняя часть поезда была отцеплена, а наша переведена на главный путь, и на этот раз уже действительно скоро паровоз окончательно свистнул и мы покатили на запад, опять уходя от большевиков.

Настроение сразу улучшилось, и, несмотря на усиливавшийся холод, мы бодро и с интересом стали смотреть кругом. Поезд шел довольно быстро. Проехали станции Елизаветино и Киперино, где, правда, порядочно постояли, и уже в полной темноте подъехали к большой станции Волосово. Не успел поезд остановиться, как внезапно распространился слух, что платформы с аэропланами и грузовиком, на котором мы сидели, будут здесь отцеплены и оставлены. Надо было опять искать новое место. Стали выгружаться, но только что я успел слезть и принять мешки, как поезд внезапно тронулся и укатил, оставив меня одного в полной темноте со всеми мешками, которые пришлось положить прямо на мокрую землю, так как я не был в состоянии их все удержать. Положение создалось очень скверное, так как я почти ничего не видел и не мог никуда уйти, чтобы не растерять вещей. Через некоторое время, показавшееся мне бесконечным, я наконец услышал отдаленный крик папы, звавшего меня. Я немедленно подал голос, и вскоре они меня нашли. Так как поезд был куда-то уведен и разыскать его в темноте было трудно, то пошли на станцию. Обширное здание было битком набито солдатами и беженцами. Грязь и вонь были ужасные, но печь была натоплена и мы с наслаждением стали отогреваться. Но вскоре узнав, что поезд опять подан к станции, мы устремились искать себе новое место. Но тщетно стучались мы во все вагоны, они были заперты и из одних нам вовсе не отвечали, а из других грубо ругали, из одного двже по-английски. Влезли было опять на какую-то платформу, но стоял уже порядочный мороз и мы вскоре так заоченели, что не могли больше выдержать и, махнув рукой, поплелись обратно на станцию. Там нам удалось пробраться к печке, и, измученные переживаниями этого дня, мы свалились на грязный заплесанный пол и заснули на своих мешках вместо подушек. Впоследствии, много времени спустя, уже в Эстонии, мы случайно узнали, что в эту ночь нам угрожала страшная опасность. Отряд красных матросов прорвался в тыл белых и шел на Волосово, чтобы перерезать путь. Лишь вовремя двинутый против них доблестный Талабский полк отогнал их и спас положение. Оно было настолько опасным, что вышедший поздно вечером из Гатчины поезд генерал-губернатора близ Энапа, на котором находился и Литиков, шел с потушенными огнями и приготовленными пулеметами, ежеминутно готовый к нападению, но, к счастью, все обошлось благополучно и мы спаслись и на этот раз.

Волосово. Отъезд в Ямбург

(27 октября 19 г.)

Новое печальное пробуждение на грязном полу. Опять чувство разбитости, невыспанности и голода. Скверный осенний день, дождь, слякоть. Вдобавок наши мешки промокли насквозь, белое сырое, продукты, как хлеб и сахар, испорчены. Делать, конечно, нечего, приходится сидеть и терпеливо ждать очередного поезда из Гатчины. Позавтракали хлебом, тут же на станции купленным папой у какого-то солдата, и опять потянулись томительные

часы ожидания. Гулять идти было некуда, стояла сырая изморось, да и грязь кругом была такая, что мы только рисковали опять промочить ноги и окончательно испортить себе обувь. Приходилось сидеть в том же грязном зале, в душном накуренном воздухе и ждать, ждать. Около 12 час. в это ожидание было внесено некоторое разнообразие, на станции появились какие-то общественные деятели из Ямбурга и с ними два американца. Тотчас же была произведена регистрация всех находившихся на станции беженцев и обещан горячий обед. Поднялся даже вопрос о временном расселении беженцев по окрестным дачам, но сочувствия эта затея, кажется, ни у кого не встретила. Но вот, наконец, часов около 4-х показался долгожданный поезд. Подхватив свои мешки, и опять таща с двух сторон Николашу, мы бросились искать в нем место. Это удалось не сразу, так как вагоны были очень переполнены. С трудом, после большого скандала, нам удалось, наконец, втиснуться в один из них. Мы очутились в товарном вагоне, на добрую треть наполненном ящиками со снарядами, которые везли с фронта обратно в Ямбург, так как они... на несколько миллиметров не подходили к орудиям (обычная английская "помощь" белым армиям). При снарядах находилось несколько солдат, которые, собственно, сжалившись над Николашей, и настояли на впуске нас в вагон. Кроме них, все свободное пространство вагона занимало еще человек 30 беженцев с целой горой всевозможного багажа. Среди них мы заметили много знакомых лиц, сидевших с нами в Гатчине в одном вагоне утром предыдущего дня и затем выехавших из Гатчины все же с гораздо большими удобствами, чем уехали мы. По их словам, в Гатчине опять все было спокойно и ни о какой эвакуации больше не поднималось речи. Между тем поезд продолжал стоять, и вскоре мы узнали, что всех зарегистрированных беженцев сначала накормят обедом, а затем нас и позвали его получать. Одолжив у кого-то котелок, так как подходящей посуды у нас не было, я встал в длинную очередь и получил большую порцию какого-то супа с салом, а затем пришлось еще сбегать в какую-то лавку, где выдали очень приличную порцию хорошего черного хлеба. Сильно проголодавшиеся, мы с удовольствием поели, причем приходилось есть чайными ложками, так как только такие у нас имелись. Поезд тронулся только около 7 час. веч., уже в темноте, шел очень медленно, с частыми остановками. Ехать было крайне неудобно, прилечь было негде и приходилось сидеть на каком-то маленьком ящике. Маму и Николашу удалось кое-как уложить, папе временами тоже удавалось прилечь, а мне пришлось провести всю ночь на этом ящике, причем попытки заснуть, хотя спать и очень хотелось, удавались очень плохо. В Ямбург мы прибыли около 3-х часов ночи, но, конечно, ночью идти было некуда и пришлось просидеть в вагоне до рассвета.

Ямбург

(28-29 октября 19 г.)

Наконец рассвело. Как и в Гатчине, мама и Николаша остались, а папа и я отправились в город опять-таки и здесь разыскивать нашего покупателя Яковлева. Прошли довольно большое, но грязное здание вокзала, конечно, также переполненное беженцами и их скарбом и по грязной дороге пошли в город, находившийся на расстоянии приблизительно версты от станции. Город производил очень невзрачное впечатление, гораздо хуже Гатчины. Низкие, преимущественно деревянные дома, множество заборов, скверные неровные тротуары и мостовая и т.д. Добрались, наконец, и до центра города, где находились 2-3 каменных дома и где был также и дом Яковлева. Его со всей семьей застали за утренним кофе. Встретил он нас гораздо менее радушно, чем Литиков, может быть, впрочем, по свойству своего довольно мрачного характера. Ему, впрочем, пришлось перенести очень много бедствий, два раза убегать из города и скрываться от большевиков в окрестных деревнях. Правда, и он принял в нас участие, угостил нас кофе и обещал как-нибудь временно устроить у себя. Оказалось, что он лишь сравнительно недавно вернулся в Ямбург, причем застал свой дом занятым под штаб армии и ему была освобождена лишь одна комната, где он и ютился со всей семьей, женой и детьми. Самое же для нас главное было то, что Яковлев был в очень хороших отношениях с эстонским консулом Пломом, у которого и обещал устроить нам пропуск в Нарву. Поблагодарив, мы отправились обратно на станцию, забрали из вагона свои мешки, выгрузили Николашу и потихоньку вернулись к Яковлеву. Немного разобравшись и почистившись, я отправился бродить по городу, тем более, что погода была довольно сносная. Улица, на которой стоял дом Яковлева, довольно скоро кончалась, упираясь в широкую и быстроводную реку Лугу. Через нее был перекинут временный понтонный мост, так как постоянный железнодорожный мост был взорван и полуразрушенные фермы

его лежали в реке. Это отсутствие прямого железнодорожного сообщения с фронтом чрезвычайно вредило белым, так как крайне затрудняло подвоз снарядов и продовольствия из окраин Нарвы, т. наз. Нарва II, бывшей в распоряжении белых. На высоком берегу Луги находился довольно большой собор, а на площади перед ним стояло несколько танков, доставленных сюда с фронта для починки. Как мы потом узнали, эти танки вообще больше чинились, чем воевали. Тут же поблизости находилось здание Уездной Управы, где как раз производилась регистрация прибывших беженцев и выдавали карточки на обед. Мы, конечно, зарегистрировались также. Военное положение чувствовалось здесь мало, как мало было и военных; видно было, что Ямбург это пока глубокий тыл. На фронте, судя по последним известиям местной газеты, все также было довольно благополучно.

В Ямбурге заметна была уже близость более обильной и благополучной Эстонии. Здесь уже был маленький рынок, где можно было купить хлеб, мясо и еще кое-какие продукты. Было открыто и несколько продовольственных лавок. Курсировали царские кредитки и т. наз. “крылатки”, деньги, выпущенные правительством Юденича с изображением орла с распростертыми крыльями, отсюда и пошло их название. Около 3-х час. дня в помещении какой-то школы я получил для всех нас какой-то суп и даже с небольшой порцией мяса, чем мы и пообедали, а затем Яковлев повел папу и меня к консулу. Плом, мрачный эстонец средних лет, обошелся с нами, благодаря Яковлеву, довольно приветливо и обещал на следующий день выдать нам пропуск в Нарву сроком на пять дней, все, что он имел право сделать своей властью. Мы горячо его поблагодарили, так как были уверены, что стоит только попасть в Нарву, а там все образуется. Вернулись обратно и провели остаток дня в тоскливом ничегонеделании. После ужина Яковлев отвел нас в какой-то флигель, служивший складом старой мебели, где мы должны были провести ночь на кушетках и рамах. Нас снабдили кое-какими подушками, одеялами и даже старыми пальто и шубами для покрывания, так как флигель не отапливался и в нем стоял форменный мороз. Несмотря на это и на неудобную постель, я все же после тяжелой ночи в Волосово и бессонной в вагоне почти моментально заснул крепчайшим сном, конечно, не раздеваясь.

Следующий день прошел в томительном, нетерпеливом и лихорадочном ожидании отъезда. Обещанный пропуск в Нарву мы получили уже утром, но поезд туда шел только вечером, и приходилось изобретать, чем убить время. Бродили по уже успевшему надоесть городу, читали кое-какие старые книги, бывшие у Яковлева, и просто сидели, ничего не делая. Между прочим, встретили на улице Литикова, приехавшего сюда еще накануне, привезли его к Яковлевым, где его угостили чаем и довольно долго с ним беседовали. Обедать не брали, а купили в лавке рису, и мама сварила из него кашу. Хоть она была и на воде, но показалась нам невиданным лакомством, так как мы не ели риса уже около года. Наконец, надо было собираться. Нагрузив на себя свои пожитки и с благодарностью распрощавшись с Яковлевыми, мы двинулись к реке и спустились к мосту. Часовой не хотел было нас пропустить, но показанный ему пропуск Плома оказался достаточным, и мы оставили за собой последнюю русскую реку. Поезда еще не было, и собравшаяся на левом берегу кучка пассажиров терпеливо ждала прямо у полотна около разрушенного моста. Наконец, со стороны моста медленно подошел паровоз с 3-4 вагонами IV класса, в один из которых мы и поспешили влезть. Этот грязноватый вагон после платформы и теплушки со снарядами показался нам необычайно роскошным: ведь в нем были окна и можно было по-человечески сидеть на скамейке. Ждать пришлось недолго; паровоз свистнул и тронулся. Ехали мы очень медленно и уже стемнело, когда мы подъехали к станции Сала, где мне пришлось вылезти и идти брать билеты, которые продавали два офицера. Затем поехали дальше. Мы рассчитывали успеть попасть этим же вечером в Нарву, впуск в которую прекращался в 8 час. вечера, но почему-то мы простояли около получаса на последней станции Комаровка и прибыли в Нарву II почти в 8 час., так что идти уже было поздно и приходилось где-нибудь ночевать. Остаться в вагоне нам не разрешили, и пришлось идти в какой-то холодный барак, куда быстро набралось довольно много народу. Лечь пришлось прямо на земляной пол. Поужинали хлебом и остатками риса, а затем потянулась долгая холодная осенняя ночь, проведенная почти без сна, то лежа на полу, то стоя около маленькой печки в передней части барака. Но все эти невзгоды переносились довольно легко: впереди была Нарва, где мы надеялись, наконец, получить долгий, спокойный и заслуженный отдых.

(30 октября 2 ноября 1919 г.)

Лишь только рассвело, мы поспешили выбраться из надоевшего барака и немедленно стали собираться в путь. Не имевшие пропуска беженцы с завистью на нас смотрели. Знакомые здания Нарвы вырисовывались вдали, красиво освещенные восходящим солнцем. Город этот нам был хорошо знаком, так как через него нужно было проезжать по дороге в приморский курорт Гунгербург, где мы несколько раз проводили лето. В Нарве торговал наш покупатель М.С.Степанов, с которым мы всегда были в прекрасных отношениях и прямо к которому и собирались направиться. Теперь, к сожалению, он уже скончался.

Забрав свои мешки, мы медленно пошли по дороге и вскоре подошли к проволочным ограждениям с проделанными в них воротами. Около этих ворот мы впервые увидели эстонских солдат в лице двух часовых в темных шинелях и фуражках с бело-сине-черными кокардами офицерского типа. Предъявили пропуск. Он вызвал было некоторые сомнения, но все же нам позволили идти дальше, правда, предупредив, что через мост нас вряд ли пропустят. Мы все же решили рискнуть и пошли дальше. Вскоре мы оказались на одной из улиц Иван-города, прибрежного пригорода Нарвы. Нельзя сказать, чтобы наша группа имела привлекательный вид. Мы шли согнувшись под тяжестью мешков, в фуражках, в грязных и измятых пальто, но особенно жалкое зрелище представлял Николаша в моей слишком ему большой военной фуражке, без сапог, в калошах на забинтованных ногах, с трудом бредущий, он возбуждал сочувственные взгляды прохожих и смех ивангородских школьниц, одна из которых даже спросила маму: “Это твой муж?” Направо и налево тянулись заборы, деревянные дома, постепенно улучшавшиеся по мере приближения к реке. Начали попадаться вывески, преимущественно русские, с такими для нас, выходцев из “советского рая”, дикими надписями, как “чайная”, “трактир”, “торговля разными продуктами” и т.д. Как-то вдруг почувствовалось, что мы вступили в другой мир, резко отличный от того, который остался сзади, за проволокой, и что эта проволока окончательно ставила границу между нами и большевиками. Но вот, наконец, мы подошли к спуску к реке и перед нами открылась красивая, многоводная Нарова с мостом через нее. Налево, на нашем берегу, высились хорошо знакомые стены и башни древней, времен Иоанна Грозного, ивангородской крепости, а напротив, на другом берегу, еще более старые башни и стены немецкой Нарвы и весь красиво расположенный город. С бьющимся сердцем подошли мы к мосту, но, к нашему удивлению, все обошлось более чем благополучно. Часовой только мельком взглянул на пропуск и тотчас же пропустил нас через мост. И вот мы уже на левом, эстонском берегу, и, поднявшись на берег, почти тотчас же очутились перед торговлей Степанова, очень хорошо расположенной прямо на рыночной площади.

Мама и Николаша остались на улице, а папа и я вошли в магазин. И здесь мы встретили сердечный прием. Степанов сначала, видимо, не верил своим глазам, а затем со слезами расцеловался с папой, поспешно вышел приветствовать маму и немедленно затем начал хлопотать, чтобы нас как можно лучше устроить. Он провел нас в свою небольшую квартиру в том же доме наверху. Жена его с дочерью и младшим сыном были в Гунгербурге, а старший сын служил добровольцем в армии Юденича. В квартире находилась прислуга, которой Степанов отдал распоряжение приготовить для нас кофе, самому же ему нужно было возвращаться в торговлю. Папа сошел вместе с ним и скоро вернулся, неся белый хлеб, масло, колбасу и сыр. Прислуга поставила на стол большой кофейник и мы, как голодные волки, набросились на все эти давно уже нами не виденные в таком количестве деликатесы. В течение какой-нибудь четверти часа мы выпили весь кофейник, съели целую булку белого хлеба, чуть не фунт масла и почти все остальные продукты. Это была буквально какая-то оргия свободной и неограниченной еды. Наевшись до отвала, мама и Николаша легли на кровати отдохнуть, меня же папа отправил на рынок купить еще кое-^ что. На рыночной площади, довольно большой и оживленной, я положительно остолбенел и несколько минут простоял неподвижно, жадными глазами глядя на разложенные груды всевозможного хлеба, сала, масла, колбас и пр. Все это было так не похоже на то, что мы оставили в России, что казалось каким-то прекрасным, но не реальным сном.

Несколько придя в себя, я сделал необходимые покупки, причем не утерпел и из небольшой суммы моих личных денег купил несколько пирожных, из которых пару тут же на месте проглотил сам, а остальные снес маме и Николаше. Папа куда-то уходил, но скоро вернулся, и до обеда мы проспали на двух кроватях и диване Степанова.

Часа в два обедали. Степанов угостил нас простым, но сытным обедом. Впрочем, тогда для нас понятия простого

обеда не существовало; и щи, и жареное мясо показались нам необыкновенным лакомством. После обеда папа и я пошли гулять по городу. Нарва была все тем же славным оригинальным старым городом, как мы ее знали раньше. Теперь, правда, это был эстонский фронт и тыл Белой армии, и на улицах встречалось много солдат и офицеров как эстонских, так и русских, которых легко было отличить по английскому обмундированию и трехцветным угольникам на рукаве. Отношения между эстонцами и белогвардейцами в это время были еще хорошие, и солдаты обеих наций мирно ходили вместе по улицам. Нарва была на военном положении и выход на улицу после 9 час. вечера был воспрещен.

Время до ужина прошло довольно незаметно. Ужинали часов в 7, опять очень плотно, причем приходилось решать вопрос о нашей ночевке, так как выяснилось, что одному из нас не хватает места. Было ясно, что ночевать отдельно придется мне, и по предложению Степанова было решено пойти к другому нашему покупателю, Абрамову, чтобы просить его принять меня на несколько ночей. Так как до полицейского часа оставалось уже немного, то сейчас же после ужина Степанов, папа и я отправились к Абрамову, жившему довольно близко. Город не освещался, и было как-то странно и жутко идти по темным пустынным улицам. Дошли. Абрамов, маленький сухой старик, принял нас любезно и немедленно согласился меня устроить у себя. Степанов и папа вскоре ушли, а я, отказавшись от предложенного чая, с огромным наслаждением растянулся на чистой мягкой постели в гостиной Абрамовых и очень быстро заснул.

Следующие два дня (пятница и суббота) прошли очень мирно и спокойно. Все продолжали жить у Степанова и лишь я по-прежнему ночевал у Абрамовых. Настроение было очень хорошее, хотя у меня в пятницу оно было отравлено тем, что благодаря неумеренной еде накануне, мне пришлось весь этот день просидеть на диете при очень неважном самочувствии. В субботу, впрочем, все прошло. В пятницу утром папа и я были у сына еще одного нашего покупателя, Нымтана (эстонца). Он служил адъютантом коменданта города и заверил нас, что мы можем спокойно жить в Нарве. Я прописал в полиции наши паспорта, причем получил также пропуск через мост, сроком на один месяц. Этот пропуск сослужил нам очень большую службу, дав нам возможность после нашего вынужденного отъезда беспрепятственно сообщаться с Нарвой. В этот же день папа купил кое-какие теплые вещи, очень нам впоследствии пригодившиеся. Правда, шерстяных вещей не было во всем городе, и пришлось ограничиться бумажными шарфами, перчатками и т.д. Кроме того, папа купил себе и мне по меховой шапке с наушниками. Мех был несомненно собачий, но все же недурно грел, и шапки эти очень намгодились. Суббота прошла также вполне спокойно. Николаша отлеживался, мама оставалась при нем, а папа и я то сидели с ними, то гуляли по городу и даже были в кафе. Как-то странно было сидеть в уютной комнате за кофе с пирожными, слушать музыку и наблюдать публику. Преобладали военные: эстонские и русские офицеры, которые в то время еще были в хороших отношениях друг с другом. В общем мы уже было совсем успокоились.

В воскресенье 2 ноября положение наше, однако, сразу изменилось к худшему. Утром я по обыкновению прогуливался по городу. Вернувшись, я внезапно узнал, что в квартиру Степанова приходил полицейский с требованием, чтобы мы немедленно оставили Нарву, угрожая в противном случае арестовать всех нас. Папа попытался найти Нымтана, но неудачно: все учреждения, конечно, были закрыты, и приходилось подчиняться. Возвращаться в Ямбург очень не хотелось и по совету Степанова мы решили переехать в одну из деревень против Гунгербурга, на русском берегу Наровы. Грустно пообедали в последний раз со Степановым, собрали опять свои пожитки, наняли двух извозчиков и поехали. Хорошо было хоть, что можно было ехать, а не идти. Переехали опять через мост, выехали за город и поехали дальше вниз по Нарове. Мы ожидали, что вскоре окажемся у проволочных заграждений, окружающих Нарву, как вдруг, отъехав версты 2 от города, мы попали в небольшую деревню, как оказалось, русскую деревню Поповку. Деревня эта, хотя и лежала на русском берегу Наровы, но в черте проволочных заграждений, т.е. не была отрезана от Нарвы, и нам сразу пришла в голову мысль попытаться здесь остаться и временно жить. Недолго думая, мы слезли и стали искать себе комнату. Это удалось очень быстро. За очень небольшую плату папа снял у старухи-бобылки хорошую, светлую и большую комнату. Отпустили извозчиков, перетащили туда наши мешки и стали устраиваться. У одного крестьянина папа купил мешок картофеля и сала, мама сжарила большую сковороду картофеля, которую мы съели в один присест и вскоре улеглись спать. Для родителей были поставлены кровати, а Николаше и мне пришлось спать на

тюдяхах. Это, конечно, были пустяки; важно было, что мы остались близ Нарвы и с возможностью с ней общаться.

Жизнь в Поповке

(3-20 ноября 1919 г.)

Собственно говоря, этот период, особенно в первой его половине, можно было бы охарактеризовать двумя словами: мы отдыхали и отъедались. Опасения, что нас могут отсюда выселить, через 2-3 дня улеглись, и мы стали жить очень однообразной, но спокойной жизнью с долгим сном и лежанием и с простым, но обильным и хорошим питанием, хорошо налаженным, вследствие доступных ежедневных сношений с Нарвой, где на рынке можно было приобретать все необходимое. Дни текли однообразной чередой, очень похожие один на другой. Вставали мы очень рано, с рассветом, т.е. часов в семь. Так как спали полуодетыми, то туалет наш занимал очень мало времени. Пили чай с желаемым количеством хлеба, масла, колбасы и т.д., а затем я отправлялся пешком в Нарву. Погода быстро становилась все холоднее и холоднее, и в середине ноября настала уже настоящая зима с порядочным морозом и снегом. Но теплая шапка и свитер хорошо меня защищали, и эти утренние прогулки на свежем воздухе по твердой хорошей дороге очень мне нравились. До Нарвы было версты 2, да затем долго приходилось идти по длиннейшей улице Ивангорода, так что в общем идти до магазина Степанова приходилось около часу. Степанов, конечно, был очень удивлен и обрадован, когда я появился у него на следующий же день после нашего отъезда. Я ежедневно первым долгом являлся к нему, немного отдыхал, а затем отправлялся на рынок за необходимыми покупками, часть которых, конечно, делал и у Степанова. Затем отдыхал, немного гулял по городу и, наконец, нагруженный покупками отправлялся домой, куда прибывал обыкновенно около полудня. Затем все с нетерпением начинали ждать обеда, который готовила мама. Теперь даже как-то странно вспоминать то громадное количество пищи, которое мы с жадностью поглощали первые две недели нашего пребывания в Поповке. Истощенный в Советской России организм жадно требовал питания, особенно жиров, и мы без всякого труда съедали, например, большую миску жирных щей с бараниной и вслед за ними несколько фунтов гречневой каши или чего-нибудь в этом роде.

Ели буквально до отвала и затем часа 2 были не в состоянии двигаться, ложились на свои постели и, как удавы, занимались пищеварением. Это наше настоящее "обжорство" вызывало крайнее негодование нашей квартирной хозяйки. Это была маленькая старушонка, очень ворчливая и сердитая, постоянно чем-то недовольная и, должно быть, жалевшая, что пустила нас к себе. Она жила в комнате рядом, непрерывно была в общении с нами и буквально терроризировала маму, которая боялась ее как огня. Мы, мужчины, относились к ее воркотне довольно хладнокровно, чувствуя себя на вершине блаженства после сытной еды, но маме она стоила многих нервов. Поднимались мы уже с сумерками, зажигали керосиновую лампу и старались чем-нибудь убить время до ужина. У Степанова была небольшая библиотечка, состоявшая главным образом из старых журналов, которую он предоставил в наше распоряжение. Кроме того, я купил в Нарве картона и цветных карандашей и смастерил две колоды игральных карт, вырезав и раскрасив их от руки. Этими картами я подолгу играл с Николашей в пикет, японский винт и другие игры. Других развлечений, конечно, не было. Часов в восемь подавался ужин, опять горячий и в гомерических количествах, как, например, сковорода с фунт. 15 жареного картофеля, быстро нами уничтожавшегося. А почти непосредственно затем мы укладывались спать и во всей избе воцарялась тишина. И так шли день за днем, почти не отличаясь один от другого.

Но эта спокойная жизнь продолжалась недолго. Ей положило конец все ухудшавшееся положение на белом фронте. Уже в самых первых числах ноября пала Гатчина и белый фронт стал неуклонно откатываться назад. Правда, мы и тогда еще не думали об отъезде, и я даже по протекции Степанова устроился на службу конторщиком в Нарвское О-во Взаимного Кредита (русское). Служить мне, однако, не пришлось. Около 15-го был красными взят Ямбург, и вскоре мы опять услышали все более и более приближающуюся артиллерийскую канонаду, от которой мы, было, думали, что навсегда избавились. В один ненастный вечер в деревне внезапно появился обоз и лазарет Семеновского полка, по неведению вошедший в черту проволочных заграждений и искавший пристанища и ночлега. Семеновцы расположились было по избам, но часа через два, когда мы уже заснули, в деревню явился эстонский отряд и с большим шумом и скандалом выгнал всех вон из деревни. В поисках русских солдат эстонцы ворвались и к нам, сильно нас напугав. Вообще в это время под влиянием многих

причин отношение эстонцев к белым сильно изменилось, и мне неоднократно приходилось наблюдать на улицах Нарвы случаи срывания с белых револьверов, оскорбления русских офицеров и т.д. Быстро создалось очень нервное настроение, и мы стали думать об отъезде вглубь Эстонии, тем более, что наступление красных развивалось, и Поповка как лежащая на правом берегу Нарвы легко могла быть ими захвачена. К счастью, в Нарву прибыл при эвакуации Ямбурга консул Плом. Он опять принял в нас участие, пришел с нами в находившееся в Ивангороде бюро по эвакуации беженцев и, благодаря его рекомендации, нас записали в ближайший эшелон, который должен был уйти 20-го. Бои шли уже совсем недалеко от Нарвы, и мы с нетерпением ждали возможности уехать, все время боясь опять оказаться в руках красных. 20-го мы совсем было ушли из Поповки со всеми нашими вещами. Физически, конечно, мы все окрепли, ноги Николаши зажили, и мы вполне готовы были к отъезду. Мы были бодры и здоровы; несмотря на невозможные условия пути до Нарвы, никто из нас не только не заболел чем-либо серьезным, но даже и простым насморком. А теперь мы и окрепли и отдохнули. Но выяснилось, что эшелон пойдет лишь на следующий день, и нам пришлось со всеми своими вещами вернуться опять в Поповку к великому неудовольствию старухи Татьяны, встретившей нас более чем неприветливо. Но на этот раз мы действительно провели в Поповке последнюю ночь.

Переезд в Изенгоф

(21-24 ноября 1919 г.)

21-го, ранним утром, мы опять забрали свои мешки и, покинув окончательно Поповку, двинулись в Нарву. Был холодный, чисто зимний день. Где-то далеко глухо раздавалась канонада. В беженском бюро, куда мы пришли, нам сказали, что наш эшелон должен уйти сегодня часов в 12, и направили нас на станцию Нарватоварная, куда с Нарва-II должны были подать состав. Это было совсем на другом конце Ивангорода, довольно далеко. Пошли. С нами шло еще несколько человек, среди них псковские купцы Судоплатовы, с которыми мы познакомились во время хлопот об эвакуации. Это были уже пожилые муж с женой и их 14-летний сын, рослый, красивый мальчик, но идиот. Его дикие выкрики, жесты и выходки производили очень тяжелое впечатление. Судоплатовы тоже тащили на себе свое имущество и, между прочим, несколько ценных старых икон, груз, вероятно, порядочный. Шли мы довольно долго и, наконец, добрались до маленькой станции, расположенной у самых проволочных заграждений. За ними была уже территория Нарвы II. Все мы забрались в пустое помещение станционного буфета, сложили свои вещи на пол, сами расселись по скамейкам и стали ждать. Время тянулось невероятно медленно и тоскливо. Прибыло еще 2-3 беженца, присоединившиеся к нам, заходили иногда белые солдаты, сообщавшие разные, большей частью оптимистические сведения о боях с красными. А поезда все не было. Уже после полудня появился уполномоченный бюро, произвел новую регистрацию всех нас и сказал, что поезд, вероятно, будет лишь к вечеру. Приходилось ждать еще. Выяснилось, что у буфетчика можно получить обед, чем мы и воспользовались. Съели обед из двух блюд. Порции были небольшие, качество неважное, но с голода съели все с удовольствием. А затем опять все ждали, ждали, ждали. Стемнело, наступил долгий осенний вечер, а поезда все не было. Начальник станции, хмурый старик, русский, несколько раз говорил по телефону с Нарвой II. Долго он не мог добиться толка и лишь около 9 час. вечера, наконец, определенно узнал, что эшелон пойдет опять лишь на следующий день. Что было делать, где ночевать? Возвращаться так поздно в Поповку было, конечно, невозможно, идти в Нарву тоже, а буфет, где мы просидели весь день, закрывался и нас из него выгоняли. Положение спас начальник станции. Он пустил нас в служебное помещение рядом со своим кабинетом, где он спал сам. Здесь мы все и провели ночь, опять после трехнедельного перерыва со своими мешками под головой. Но здесь, по крайней мере, был чистый пол и было тепло, так что в общем мы спали довольно прилично. На следующий день нам опять пришлось прождать в тоскливом ничегонеделании все утро, и лишь около полудня прибыла, наконец, долгожданная длинная вереница вагонов-теплушек, остановившаяся однако за чертой проволочных заграждений. Нас всех привели в какую-то будку, через которую проходила проволочная стена с калиткой посередине. Какой-то эстонский чин пропустил нас через эту калитку, проверяя по списку, и мы поспешно устремились к вагонам, чтобы отыскать себе место. Внезапно папа изумленно кого-то окликнул и быстро направился к одному из вагонов, в дверях которого стоял невысокий, уже пожилой человек. Игра судьбы мы опять встретились со своим покупателем! Это был гдовский купец Бояринов, тоже эвакуирующийся вглубь

Эстонии после недавнего занятия Гдова красными. В вагоне, где он находился и куда немедленно нас пригласил, находилось десятка два человек, все членов различных гдовских городских учреждений (Городской Управы, Продовольственного Комитета и др.) со своими семьями. Бояринов тоже был с женой и детьми. Мы быстро со всеми познакомились, приткнулись в уголок и стали ждать отправления поезда. Вагон был довольно приличный со скамейками вдоль стен. Середину его занимала круглая железная печь, на которой обитатели вагона грели себе воду, молоко и т.д. Папа тут же купил у кого-то из них несколько коробок очень недурных норвежских рыбных консервов, хлеб у нас был; согрели чай и с большим удовольствием поели. А поезд все стоял, так как его не пропускали через мост в Нарву. А между тем где-то недалеко шел бой, гремели пушки и снаряды красных падали приблиз. в полуверсте от станции, что, естественно, создавало очень нервное настроение. С наступлением темноты стрельба, однако, прекратилась и после долгого томительного ожидания, часов около 7 веч., поезд, наконец, тронулся. Вскоре он уже шел по железнодорожному мосту. Нарва опять, и на этот раз уже окончательно, осталась за нами. Новая остановка на станции Нарва I, свет, прилично одетая публика, с любопытством нас разглядывающая. Стояли мы здесь на этот раз недолго и вскоре двинулись дальше, на запад, прочь от большевиков. Все успокоились и начали устраиваться на ночь. Опять было довольно неважно, скамейки узки, на полу, под тряску колес, жестко и неудобно, и спали мы очень плохо. Кое-как прошла долгая ночь, и под утро 23-го поезд, медленно двигавшийся с остановками всю ночь, остановился на большой станции Йевве, в 30 верстах от Нарвы, где, как полагалось, нас всех разместят.

Когда окончательно рассвело, большая часть обитателей вагона, конечно, из него вылезла и направилась к станции. Большое станционное здание было переполнено беженцами и эстонскими солдатами и грязно не менее, чем Волосово. Но зато здесь был буфет, в котором можно было достать кофе и булочки, что после утомительного переезда было особенно приятно. Бояринов с двумя тремя спутниками отправился в местечко Йевве (верстах в 2-х от станции) узнавать, можно ли будет здесь выгрузиться и поселиться. Вслед за ним пошли туда же папа и я, чтобы попытаться найти отдельную комнату для нашей семьи. В Йевве жила также наша покупательница Ида Винкель, и папа, конечно, решил прежде всего обратиться к ней. По дороге мы от кого-то узнали, что большое количество солдат на станции объясняется тем, что происходит где-то поблизости разоружение одного из белых полков, вынужденного отступить на территорию Эстонии. Отношения эстонцев и белых уже окончательно испортились, и эксцессы между ними происходили все время. Вскоре мы дошли до Йевве, маленького местечка с деревянными домами и кирхой на базарной площади. Довольно быстро нашли дом Винкель и ее самое тут же на улице. Винкель крупная, еще молодая эстонка отнеслась к нам с холодным равнодушием, даже, кажется, не сразу нам поверив. Все комнаты в ее доме были сданы, и, по ее словам, Йевве было настолько переполнено беженцами как карантинный пункт, что надеяться найти здесь комнату было безнадежно. Обескураженные вернулись мы обратно на станцию, где застали наших спутников за приготовлением обеда. Они уже успели купить мяса, картофеля и капусты, развели тут же на снегу костер и варили щи. Вскоре вернулся Бояринов.

Действительно, Йевве было переполнено, и разместить наш эшелон не было возможности. Нас должны были отправить дальше на одну из еще не заселенных беженцами станций, но когда и куда неизвестно. Опять начали ждать. Бродя близ нашего поезда, стоявшего на запасном пути, встретились и с Судоплатовыми, устроившимися в другом вагоне. Мы были очень рады, что они не едут в нашем, так как ехать с идиотом было бы крайне неприятно. Между тем поспел обед, которым угостили и нас. Наши спутники вообще относились к нам очень хорошо, считали нас как бы своими гостями и делились с нами чем могли. Щи были очень вкусные, и мы съели их с большим удовольствием. А затем началось опять все то же, т.е. долгие часы ожидания отправления. Повезли нас дальше только уже поздно вечером. Я так устал после предыдущей почти бессонной ночи, что заснул мертвым сном на полу вагона, забившись в угол, и не заметил, как наш вагон прибыл на свой конечный пункт на станцию Pussi !!! (Изенгоф) в 10-12 верстах от Йевве.

Проснувшись утром и обнаружив, что вагон стоит и уже светло, я, конечно, поспешил вылезти из него, чтобы узнать, где мы находимся. Наш вагон и еще несколько других, отцепленные от паровоза, стояли на запасном пути маленькой станции, со всех сторон окруженной хвойным лесом. За ночь выпало порядочно снега, но теперь было ясно. Бояринов отправился в местечко Изенгоф (в 4-5 верстах от станции), чтобы подготовить помещение, и все стали ждать его возвращения, гуляя около станции или сидя в вагоне. Прошло несколько часов, было уже за

полдень, а он все не возвращался. Вдруг я увидел папу в оживленном разговоре с высоким красивым господином в полушубке. Это оказался местный помещик барон фон Курсель, имение которого Эррас находилось верстах в 8 от станции. Ему было предписано эстонскими властями разместить у себя несколько беженцев. Не желая, чтобы ему навязали нежелательный элемент, он лично приехал на станцию, чтобы выбрать себе постояльцев по своему вкусу. Папа сейчас же попросил его принять нас, так как было очевидно, что жить в этом имении будет несравненно лучше, чем тесниться в 2-3 комнатах вместе с массой остальных обитателей нашего эшелона. Барон охотно согласился. Он пригласил еще одну беженку Е.М.Михайлову, ж^ну военного чиновника Белой армии с ее тремя детьми, двумя мальчиками 12 и 8 лет и маленькой девочкой. Он попросил нас поскорее собраться, чтобы уехать, пока ему не навязали еще кого-нибудь, так как он надеялся, что ему удастся ограничиться лишь нашей группой. Упрашивать нас, конечно, было нечего. Мы быстро собрали наш скарб, с благодарно.стью распрощались с нашими спутниками, разместились на двух больших санях, на которых прибыл барон, и покатили. Погода была тихая, и так приятно было ехать по хорошему санному пути среди опушенных снегом сосен и елей. Ехали больше получаса и, наконец, выехали на берег небольшой реки, затем через ворота в запущенный парк и к барскому дому. Дом был очень большой и раньше, вероятно, очень хороший, но сильно разграбленный и поврежденный красноармейцами, которые хозяйничали в нем несколько недель. Сам барон занимал очень незначительную часть его, а нам предоставил две комнаты, одну большую, где поместилась Михайлова с детьми, а другую поменьше, рядом с верандой, для нас. Комнаты были протоплены, нам дали керосиновую лампу, и мы сразу почувствовали себя довольно уютно. А тут нас ждал еще приятный сюрприз. Экономка барона, рослая красивая немка, пригласила нас в большую комнату, где мы увидели на столе большой котел с овощным супом, кувшин молока и целый каравай хлеба. Обе наши семьи, проголодавшиеся, с аппетитом все Это уничтожили и часов в 8 уже завалились спать. Для постели нам была дана целая куча плетеных циновок. Положенные в несколько рядов одни на другие, они образовывали довольно недурную постель. Началась наша жизнь в Эррасе, где нам суждено было прожить почти три месяца, а мне лично едва не остаться в нем навеки.

Эррасский период

(25 ноября 19 г. 13 февраля 20 г.)

Первые дни

(25 30 ноября 19 г.)

Первые 6 дней нашей жизни в Эррасе я выделяю потому, что только их мы прожили двумя семьями, как нас привез барон. Мы прожили их мирно, без больших волнений и хорошо отдохнули. В первое же утро мы, разумеется, постарались всесторонне ознакомиться с местом нашего нахождения. Дом, как я уже писал, был окружен небольшим запущенным парком. Близ него находился отдельный дом управляющего и ряд домиков для различных служащих имения. Со всеми ими мы постарались познакомиться и завязать хорошие отношения. Управляющий еще молодой рыжеусый эстонец все время относился к нам очень хорошо и помогал чем мог. Значительно хуже был садовник, мрачная, озлобленная личность. Первое время он был еще ничего и по распоряжению барона по баснословно дешевой цене отпускал нам овощи, но впоследствии, с прибытием других беженцев, стал окончательно злым, и нам зачастую приходилось слышать от него “Vene kurat”, т.е. “русский черт” и молча проглатывать это оскорбление. Кроме него мама вступила в довольно близкие отношения еще с двумя служащими имения четой Воробьевых. Это была довольно оригинальная пара. Он русский, с лицом Николаевского унтера, т.е. усами и баками, очень симпатичный человек, она эстонка, плохо говорящая по-русски, добродушнейшая толстуха, сразу подружившаяся с мамой. Она пекла и продавала нам хлеб, разрешила маме пользоваться своей плитой для варки обеда и постоянно оказывала маме целый ряд мелких услуг. Очень славным добродушным эстонцем был также заведующий коровником, отпускавший нам молоко. Вот, собственно, и все служащие, с которыми нам пришлось иметь дело.

Барон относился к нам очень внимательно. Он неоднократно заходил к нам, подолгу беседовал с папой, видимо, очень нам сочувствуя. Он постарался создать нам возможно больший уют, дал кое-какую мебель, даже кровать для мамы, немного посуды и еще кое-что необходимое. На второй день нашего пребывания он также бесплатно

дал всем нам суп и молоко, и лишь затем мы перешли на свое хозяйство. Нам прежде всего необходимо было добраться до Бояринова, уведомить его о нашем пребывании и записаться на американский паек. Однако первая попытка добраться до местечка Изенгоф, где он обосновался со своей свитой, оказалась неудачной. Нужно было идти около трех верст, а наступившая оттепель превратила дорогу в сплошную кашу талого снега, в которую мы провалились по щиколотку. В каких-нибудь четверть часа мы насквозь промочили ноги и отчаялись идти дальше. Пришлось вернуться, причем мы привели маму в полный ужас видом нашей обуви, и без того уже дырявой и почти негодной. Барон, узнав о нашей неудаче, сжалился над нами и дал нам лошадь, на которой мы на следующий день и добрались до Изенгофа, где Бояринов был председателем комитета, в ведение которого входил и наш район.

Местечко Изенгоф было очень похоже на Йевве, только значительно меньше. Его разделяла на две части речка с мостом через нее. На одном ее берегу, ближе к имению, находились лучшие дома, кирха и торговля галантерейными, писчебумажными и т.п. товарами. Заречная часть была заселена беженцами и там же находились американские склады и пекарня. Бояринов со всей своей свитой помещался в двух-трех комнатах, набитых до отказа. Вид этих переполненных комнат с душным, прокуренным воздухом, с полом, устланным тюфяками, где лежали и сидели беженцы, производили очень неприятное впечатление, и мы могли только порадоваться, что не попали сюда, а живем в гораздо лучших условиях. Бояринов принял нас очень любезно и записал на американский паек, за которым нужно было являться через день. Двухдневную порцию мы тут же получили. На каждого взрослого беженца полагалось в день по 1 ф. очень хорошего белого хлеба и 1/4 ф, копченого сала, а на детей еще дополнительные продукты: какао, сгущенное молоко, бобы, рис и пр. по особой норме. Там же в Изенгофе была и колониальная торговля, где можно было приобрести все остальное необходимое. Нагруженные вернулись мы домой и до 1-го декабря еще два раза совершали это путешествие. Дни проходили однообразно, тихо, спокойно и довольно скучно. Книг не было, и приходилось убивать время, а особенно долгие темные вечера, как придется. Конечно, очень рано ложились спать. С семьей Михайловых у нас установились довольно сносные отношения. Сама Е.М. Михайлова была уже пожилая, нервная, издерганная, видимо, измученная тяжелой жизнью и детьми женщина. С

мамой, однако, все это первое время, когда мы жили рядом, она жила очень дружно. Ее старшая дочь, уже большая девочка, очень милая и славная, много ей помогала, часто принимая на себя незаслуженные упреки и даже побои. Двое мальчишек были большими сорванцами, неисправимыми несмотря на то, что мать часто и нещадно их била, что, конечно, оставляло очень неприятное впечатление. Младшая дочь, еще совсем маленькая девочка, была довольно славным, хотя и капризным ребенком. Положение Михайловой было еще и тем более затруднительным, что у нее были деньги только Сев.-Зап. Армии, почти совершенно уже потерявшие всякую ценность, и ей приходилось с детьми жить лишь на американский паек и на те продукты, как молоко, картофель и т.п., которые барон нам бесплатно давал. Дрова мы также получали от него безвозмездно.

В ближайшую субботу после нашего приезда мы получили большое удовольствие: барон предложил нам всем вымыться в бане, которая в этот день топилась для служащих имения. Баня находилась довольно далеко, в поле, приблизительно в полуверсте от дома. Вымыться в ней впервые со дня нашего беженства было громадным наслаждением, хотя это мытье и сопровождалось оригинальным эпизодом. Я попал туда довольно поздно, уже в полной темноте, вместе с одним из мальчиков Михайловых, последними из нашей "колонии". Служащие имения, как раз в это время окончив рабочий день, также начали там мыться, причем по местному обычаю, распространенному, впрочем, и по всей эстонской провинции, мужчины и женщины вместе. Так как в то время, как я раздевался, они уже все были внутри, то я этого не заметил, и, конечно, войдя в банное помещение, остановился в полном ошарашивании. Однако отступать уже было поздно тем более, что толстуха Воробьева, необъятная фигура которой особенно бросалась в глаза, очень любезно стала приглашать меня устраиваться и мыться. Пришлось подчиниться и мыться в таком странном обществе, хотя, конечно, чувствовал себя я очень неловко. Впоследствии, пользуясь баней, мы уже старались попадать туда пораньше и запирались, так что этот случай больше не повторился. Таким образом дожили мы до декабря.

Прибытие новых беженцев. Избрание комитета

(1-10 декабря 19 г.)

Эта тихая спокойная жизнь продолжалась недолго. Утром 1 декабря экономка барона сообщила нам, что на станцию прибыл новый большой эшелон беженцев, и барон будет вынужден еще принять некоторых из них в свой дом. Он выедет опять на станцию, чтобы так же выбрать их по своему желанию. Для нашего удобства он открыл еще одну комнату, прилегавшую к нашей, и предложил нам в нее перебраться, так как новым беженцам он предоставляет комнату, прилегающую к нашей с другой стороны и, таким образом, наша бывшая комната, выходящая прямо на веранду, становится проходной и неудобной для жилья. Новая комната, куда мы перебрались и где нам было суждено прожить 2 1/2 мес. оказалась большой и удобной. В ней было 2 окна, большой камин; мы перетасили в нее нашу незатейливую мебель, постельные циновки и т.д. и довольно прилично устроились. Новые компаньоны прибыли, когда уже стемнело. На первый раз их было только пятеро: два железнодорожника русский Михайлов и эстонец Альбер, оба с сестрами, и кроме того подруга барышни Михайловой. Оба мужчины служили на станции Елизаветино и очень помогли белым при их наступлении, вследствие чего, естественно, и должны были бежать от красных. Все они оказались очень славными людьми и быстро с нами сошлись. Мама часами просиживала у барышень, болтая с ними, все дружно работали, помогая друг другу, и ближайшие 3 дня мы прожили очень хорошо. Но дальше положение опять изменилось. Вечером 5-го декабря, уже против желания барона, по указанию Бояринова в Эррас сразу было направлено человек 20 беженцев. Барону пришлось спешно отпереть еще три комнаты, две за нашей, а одну прилегающую к большой комнате, где жила Е.М. Михайлова. Ее с семьей перевели в комнату рядом с нами, поместив к ней еще одну беженку с годовалой девочкой, одну девочку вселили к Михайловым-Альбер, а остальную массу беженцев коекак разместили в трех комнатах и даже в доме управляющего. Спокойная жизнь кончилась. Дом наполнился людьми, с которыми везде приходилось сталкиваться, начались неизбежные споры, недоразумения, затруднения с добыванием продовольствия, и вскоре стало ясно, что надо в этот хаос внести какую-нибудь организацию. Решительным толчком к этому явилось заявление Бояринова, что во избежание злоупотреблений он отказывается впредь выдавать отдельным лицам нашей колонии американский паек, а хочет иметь дело с ее исполнительным органом комитетом, к выборам которого и предложил нам немедленно приступить. Как первопоселенцы мы взяли в этом на себя инициативу, оповестили всех обитателей обоих домов, и вечером 10-го декабря целая толпа собралась в большой комнате. Заседание провели по всем правилам. Был избран председатель (папа) и секретарь, написали протокол и закрытым голосованием произвели выборы, хотя это и было довольно трудно, так как все мы еще плохо знали друг друга. Папа, избрание которого, можно сказать, было обеспечено, заранее отказался. Председателем комитета очень крупным большинством был избран Б.И.Васильев, петербуржец, в прошлом товарищ председателя Окружного Суда, т.е. очень крупный человек. Он довольно долго отказывался, но в конце концов дал себя уговорить. Членами были избраны Михайлов и некто Благодатский, акцизный чиновник из Гатчины, кандидатами с правом голоса П.М.Лебедев, чиновник из Пскова, и Николаша. И, наконец, по чьему-то предложению я был единогласно избран секретарем. Это единогласное избрание очень мне польстило. Междущарствие, таким образом, окончилось, и у нас появилось "правительство", к деятельности которого, а равно и к характеристике моих коллег по комитету и других обитателей эррасского карантина я и перехожу.

Комитет I-го состава

(11-25 декабря 1919 г.)

Новообразовавшийся комитет немедленно приступил к работе. Было решено, что его заседания будут проходить в нашей комнате, и первое заседание состоялось уже утром 11-го, причем как в нем, так и в последующих неофициальное участие принимал папа, к мнению и советам которого наше "правительство" очень прислушивалось. На нем были распределены обязанности каждого члена, причем мне было поручено распределение американского пайка за исключением специальных продуктов детского питания, переданных в ведение Николаши. Затем я почти целый день просидел над составлением подробного списка членов нашей колонии, а на следующий день Б.И.Васильев и я съездили к Бояринову, сдали ему этот список, получили от него небольшую сумму на необходимые расходы и первую двухдневную порцию американского пайка сразу на всю колонию, причем всем членам комитета было дано право на двойную порцию хлеба. Но прежде, чем описывать

дальше нашу деятельность, я хочу дать краткую характеристику моих коллег. Нашим главой был Б.И.Васильев, высококультурный и интеллигентный человек, правовед по образованию, необыкновенно обаятельный и симпатичный. Он очень сошелся с нами и как чрезвычайно интересный и разнообразный собеседник значительно скрасил нам долгие и скучные часы нашего аррасского сидения. Очень деликатный и тактичный, он пользовался большим уважением и авторитетом среди беженцев, и не раз лишь благодаря его личному влиянию удавалось прекратить ссоры и схватки между отдельными членами нашей колонии, к сожалению, часто возникавшие, особенно между ее дамской частью. После большевистского переворота он вынужден был добывать себе пропитание самыми различными способами: уроками в Гатчине, вплоть до таких странных предметов как кролиководство, игрой на виолончели в местном кинематографе и т.д. Несмотря на все пережитые им лишения и на полное отсутствие средств, он не терял бодрости духа, ободрял других и надеялся на лучшее будущее. Увы, ему не суждено было дожить до него, и через какой-нибудь месяц он навеки успокоился в безвестной могиле в Изенгофе. Да будет ему легка земля!

Б.И.Васильев был не один. С ним была жена, еще совсем молодая дама, очень хорошенькая, милая и симпатичная, и трое прелестных маленьких детей, два мальчика и девочка. Жили они очень хорошо и дружно, помещались в отдельной небольшой комнате, через одну от нас, крайней, непосредственно примыкавшей к комнатам барона.

Член комитета Благодатский был совсем в другом роде. Это была какая-то озлобленная, издерганная личность, постоянно готовая на ссору и скандал. Работать с ним вместе было очень трудно, так как он вечно шел наперекор другим и с трудом подчинялся большинству. Я не хочу писать о нем много худого, его тоже уже нет на свете, но не сказать вышеизложенного я не могу. С ним была жена, молодая дама, характером очень похожая на мужа, и маленькая, хорошенькая племянница.

Последний член комитета, П.М.Лебедев, был пожилой провинциальный чиновник, забитый судьбой и людьми. Он был довольно мирный и покладистый человек, находился под большим влиянием Васильева и почти всегда соглашался с его мнениями. С ним была сестра, очень неприятная старуха, и три взрослые дочери, здоровые, краснощекие, типично провинциальные барышни, с мелкими мещанскими интересами и привычками. Все Лебедевы помещались в одной комнате с Благодатскими и еще одной четой, спали все вместе вповалку на полу, и у них чуть ли не ежедневно происходили споры, ссоры и стычки, разрешать которые обычно приходилось Васильеву. В общем это была довольно бесцветная семья, к которой мы относились без особой симпатии или антипатии, безразлично.

В одной комнате с Лебедевыми-Благодатскими помещалась еще чета Гавловские, муж и жена, пожилые, спокойные, малозаметные люди. Большая комната рядом была населена сразу несколькими семьями и отдельными лицами. Во-первых, в ней жила очень симпатичная семья Лезевиц, муж, жена и ее дочь от первого брака. Эд.Вл.Лезевиц, русский немец, техник из Гдова, полуинтеллигентный, но на редкость добрый и сердечный человек. Неторопливый серьезный и спокойный, он всегда стремился примирять враждующие стороны нашей колонии, всем по мере возможности помогал. Мы очень близко сошлись с этой семьей, причем оказалось, что м-те Лезевиц, тоже немка, когда-то училась в одной школе и одновременно с папой, что вызвало у них целый ряд общих воспоминаний. Ее дочь Л.А.Линден была тоже очень славная барышня, и Николаша и я особенно с ней сблизились и много времени проводили вместе. Ухаживания в полном смысле этого слова с моей стороны не было, но она мне очень нравилась как умная, интеллигентная барышня, резко выделявшаяся из серого уровня барышень Лебедевых и т.п. Мы много говорили, читали, гуляли, и ее общество очень скрасило наше тоскливое прозябание в Эррасе.

Второй семьей большой комнаты была семья Капшаниновых. М-те Капшанинова зубной врач из Нарвы, еврейка. Это была еще молодая женщина, очень вежливая, спокойная, но ужасная язва. Она вечно была чем-нибудь недовольна, критиковала все мероприятия нашего Комитета, ворчала на условия жизни, пищу и т.д., хотя была в самых лучших условиях из нас всех, так как привезла с собой целую массу багажа, мебель, кровати, большой гардероб и даже прислугу, молодую безответную девушку. Она занимала большую часть комнаты, где и расставила свои кровати и пр., отгородив их ширмами от остального мира. Денег у нее, кажется, было достаточно, и кроме того она устроила себе и практику среди местных жителей, так как все свои инструменты она

тоже вывезла. С нею был сын, великовозрастный юнец, которого она упорно выдавала за ребенка, чтобы получить на него детский паек, и дочь, девочка лет 12, такое же капризное существо, как и мать. Кроме того в этой же комнате помещался еще некто Степанов, маленький молчаливый человек, бывший почти без ничего, оставивший в России жену и детей и, видимо, очень жалеющий о своем поступке.

К нашей колонии принадлежало еще несколько человек, живших в доме управляющего, все сплошь неинтеллигентные люди, кондуктора и т.п., которые появлялись у нас только в дни общих собраний да за получением пайка. Затем в каком-то маленьком домике жили еще муж и жена Сулема-Самуйло. Он старик поляк, интеллигентный, очень спокойный и вежливый и такой же критик и придира, как и Капшанинова. Он всегда приходил на наши собрания и всегда и всюду протестовал против всего, что мы предлагали, причем облакал свои протесты в безукоризненно вежливую, но и чрезвычайно язвительную форму и своими вечными придирками не раз доводил до белого каления даже нашего всегда корректного и спокойного председателя. В частной жизни, впрочем, это был очень славный старик, кажется, хорошо живший с женой, о которой я даже не знаю, что написать, так как совершенно потерял о ней представление. Вот и вся наша колония. Перехожу теперь к деятельности комитета.

Главной нашей заботой были, конечно, вопросы продовольственный и топливный, так как большинство беженцев были почти или совсем без денег. Но, к счастью, оба этих вопроса затруднений не доставили. Американский паек давал нам вполне достаточное количество хлеба и сала, приходилось лишь прикупать черный хлеб. За этими продуктами приходилось ездить в Изенгоф через день на лошади, любезно предоставленной нам бароном. Ехали всегда один из членов комитета и двое мужчин беженцев, по очереди. Как эта, так и все другие очереди составлялись вперед на неделю и список их вывешивался в большой комнате. Мы, члены комитета, старались показывать всем пример и заставлять по принципу коммуны работать всех, не исключая и пожилых, хотя зачастую приходилось сталкиваться и с желанием того или другого уклониться от работы и со скандалами заставлять их исполнять их обязанности, угрожая даже единственной бывшей в нашем распоряжении репрессией лишением пайка. К осуществлению этой угрозы, впрочем, прибегать не пришлось ни разу.

Ездить за хлебом и пр. за несколько верст, по порядочному морозу и в наших не очень-то теплых одеяниях было небольшим удовольствием, но приходилось терпеть. Кроме хлеба и сала нам выдавался также особый паек для детей: какао, рис, бобы и пр. Этими продуктами заведовал Николаша, за которым усердно ухаживали все мамы, стремящиеся получить для своих детей порции побольше и получше. И тут, конечно, не обходилось без споров, недоразумений и взаимных упреков. Развеска же и раздел хлеба и сала производились под моим руководством, и хотя я в распределении этих продуктов и старался быть совершенно объективным, но и тут случались споры, жалобы и даже скандалы, обыкновенно между Благодатскими и Лебедевыми.

Кроме американского пайка мы имели еще в достаточном количестве картофель и молоко, которые нам давал барон; картофель бесплатно, а молоко за какую-то ничтожную плату. Картофель приходилось доставать из погреба, и его доставка, разборка и распределение было трудовой повинностью женского персонала нашей колонии, опять-таки в порядке строгой очереди (с участием и мамы), под наблюдением Благодатского. Молока до двадцатых чисел декабря мы получали мало, и приходилось его строго распределять, отдавая, конечно, преимущество детям, но с конца декабря его стало сколько угодно. Его доставляли в какое-то строение довольно далеко от дома, и здесь нам его выдавал один из служащих барона, очень славный эстонец, о котором я уже упоминал. Получать его ходили по очереди один из членов комитета и двое из беженцев, причем этот же член комитета и наблюдал за его распределением. Выдавали его вечером, уже в полной темноте, при свете фонаря. Дрова мы также получали от барона бесплатно. Они доставлялись нам прямо из леса возами, большими обледелеными поленьями. Когда появлялся такой воз, то все наличные мужчины обязаны были принимать участие в разборке, пилке и колке, а затем дрова распределялись по комнатам. К сожалению, дрова большей частью привозились сырые, да в нашей комнате кроме того не было печи, а камин, плохо ее согревавший, и почти всегда приходилось мерзнуть.

В середине декабря мне удалось на два дня выехать за пределы нашего карантина и повидать новые места. Еще в первых числах месяца папа съездил в Везенберг, маленький городок верстах в 40 к западу. Он повидался там с нашим покупателем Розниковым и привез разных продуктов с базара. А затем за подобными же закупками

отправили меня. Так как нам было запрещено выезжать за пределы нашего района, то пришлось идти в Волостное Управление за разрешением, каковое, впрочем, выдали беспрепятственно. И вот в одно морозное утро, еще в полутьме, я отправился пешком на станцию, верст за 6-7. Погода, впрочем, стояла ясная и бодрящая, и я с удовольствием прошел это расстояние. И вот я опять в поезде, но на этот раз в приличном вагоне III класса у окна. Двухчасовой переезд прошел незаметно, и часов в 11 утра я уже был в Везенберге. Это был маленький, чистенький городок, меньше Нарвы, с преобладающими деревянными домами и тротуарами. Торговлю Розникова, довольно большую, я нашел быстро. Розников, маленький подслеповатый старичок, русский по происхождению, но совершенно обзастонившийся и с трудом говоривший по-русски, отнесся ко мне довольно любезно. Ночевать к себе он, впрочем, меня не пустил, а направил к своему старшему приказчику Фельдману, очень любезному человеку, охотно меня принявшему. Базар был лишь на следующий день. Я отправился обедать к одной старой немке, у которой обедал и папа, и с большим удовольствием съел очень недурной домашний обед из двух блюд за какую-то очень недорогую плату. Остальную часть дня пришлось убивать, как придется. Я исходил весь городок по всем направлениям, торчал в лавке Розникова и не знал, что с собой делать. Наконец, Фельдман закрыл торговлю и повел меня к себе. Он занимал очень недурную квартиру, где жил вдвоем с женой, очень славной добродушной женщиной, которая приняла меня как родного, угостила ужином и, наконец, предоставила мне комнату с мягкой чистой постелью, показавшейся мне необычайно роскошной. Я прекрасно выспался и утром после кофе, которым меня угостили хозяева, отправился прямо на базар. На большой площади уже стояло десятка два-три крестьянских телег, с которых продавались разные продукты. Мне было поручено купить мяса, масла, яиц и т.п. Задача довольно трудная, так как в качестве продуктов я понимал мало, да и объясняться было трудно, так как продавцы почти не говорили по-русски. Но все же кое-как я свою задачу исполнил, упаковал мои покупки, сложил их временно у Розникова и опять стал бродить по городу. Пообедал у той же немки, распрощался с Розниковым и Фельдманом и отправился на вокзал. Но поезд сильно опоздал, и мне пришлось часа три просидеть в прокуренном зале, смертельно скучая. Поезд подошел лишь около 7 час. вечера, причем был страшно переполнен. Мне еле удалось втиснуться в вагон и почти всю дорогу простоять. Жестоко усталый, я часов около 9 вылез на нашей станции и побрел было пешком в Эррас со всеми пожитками, но на счастье меня догнал один из работников имения, возвращавшийся на лошади из Изенгофа и, конечно, подвез. В 10 часов я, наконец, был дома, где обо мне уже начали беспокоиться.

Дня через два после этого всем беженцам была дана большая радость. К нам явились представители американского Красного Креста для раздачи одежды и теплого белья. Во главе их стоял некий m-р Oyes, еще совсем молодой, очень славный американец. Так как он воспитывался во Франции, то прекрасно говорил пофранцузски, что дало возможность Б.И.Васильеву и мне объясняться непосредственно с ним, минуя бывшего при нем переводчика. Все собрались в комнате Васильевых, куда были перенесены и все привезенные вещи. Американцы, Васильев и я уселись там за большим столом, а остальные беженцы столпились в соседней комнате. Американцы поочередно вызывали их по представленному мною списку и по нашему указанию снабжали теми или другими вещами. Конечно, мы не забыли и себя. Для нас самое главное были сапоги, так как они у нас совершенно разваливались. И мы, все трое мужчин получили толстые “танки”, т.е. американские солдатские ботинки на толстой подошве (у мамы сапоги были в лучшем состоянии). Кроме того мы получили по теплому вязаному шарфу, а мама также свитер без рукавов и еще что-то. Радость и благодарность всех беженцев была неопишима, но немало было и споров и протестов против наших решений о степени нуждаемости данного беженца в том или другом предмете, так как американцы привезли все в ограниченном количестве и надо было все распределять между наиболее нуждающимися. Особенно всем хотелось получить сапоги, которых было только пар 20 и приходилось буквально производить экспертизу обуви каждого отдельного члена нашей колонии, причем наши сапоги оказались чуть ли не самыми рваными. Но кое-как все разделили, угостили американцев чаем и с благодарностью их проводили. Второй раз они спасли нас, на этот раз от холода и простуды, так как не получи мы их “танков”, я не знаю, как бы мои сапоги просуществовали еще хоть немного. Сапоги эти, правда, были очень тяжелы, но и очень крепки, и я носил их года два, еще и в Риге. Да и все остальное было очень кстати и никогда не забуду этой помощи от милого m-ра Oyes.

Жизнь наша в общем текла довольно однообразно, но мы както к ней приспособились и особенно не скучали.

Просыпались мы рано, часов в 7 утра, но вставать, чтобы не тратить керосина, начинали лишь, когда рассветало. Спали мы на соломенных циновках полуодетые, так как одеяла наши были тонки, а в комнате довольно прохладно, так что туалет наш занимал немного времени. Из экономии я брился лишь раза 2 в неделю, носил постоянно вязаный свитер, чтобы не снашивать рубашек, которых у меня было лишь две, и воротничков (4). Пили чай с белым хлебом и маслом, если оно было, а затем начинались наши повседневные заботы как членов комитета. То нужно было разбирать какие-либо недоразумения между нашими сожителями, увы, слишком часто возникавшие, то ехать в Изенгоф за хлебом, распределять его, участвовать в какой-нибудь общей работе, колоть и носить дрова и т.д. В общем время до обеда проходило незаметно. Обедали часа в 2, очень однообразно, обыкновенно густым овощным супом, который мама варила у толстухи Воробьевой. После обеда отдыхали, я немного читал. Кое у кого из беженцев были книги, переходившие из рук в руки. Выбор был очень небольшой, но и этому я был рад и с огромным удовольствием перечитывал “Quo vadis” Сенкевича и какую-то толстую хрестоматию. Газеты попадали к нам редко и большую часть новостей мы узнавали из Изенгофа. Положение на фронте было очень тревожным. Красные всеми силами старались взять Нарву, хорошо укрепленную и стойко защищаемую эстонскими войсками и частями ген. Юденича под общим командованием эстонского генерала Теннисона. Нарва подвергалась ожесточенной бомбардировке, причем эта канонада, несмотря на сорокаверстное расстояние, часто была нам ясно слышна. Положение наше, в сущности, было довольно опасным, так как в случае падения Нарвы эстонские войска отошли бы значительно на запад, за Вейенберг, в район Тапса, где была подготовлена следующая оборонительная линия. Что случилось бы тогда со всеми нами, как бы нам удалось бежать дальше? Но мы тогда с каким-то фатализмом относились к возможному будущему и старались просто о нем не думать.

Когда темнело и зажигались редкие керосиновые лампы, то большая часть обитателей нашей коммуны собиралась в большой комнате, игравшей в эти часы роль какого-то клуба. Одни играли в карты, обычно в “девятый вал”, другие рассказывали друг другу анекдоты, просто разговаривали друг с другом, иногда пели, организовав очень недурной хор, в котором деятельное участие принимала и чета Васильевых, обладатели очень недурных голосов. Часов в 7 1/2 дежурные молочной повинности данного дня доставляли молоко, которое тут же распределялось, и все расходились ужинать. Наш обычный ужин состоял просто из кружки молока с белым хлебом. После ужина еще на часок сходились в “клубе”, а затем уже в 9 1/2 укладывались спать, чтобы на следующий день начать опять то же самое.

Так изо дня в день дожили мы до Рождества нов. ст. Мы его, конечно, не справляли, но барон, желая порадовать беженцев, устроил в сочельник елку в доме управляющего. В довольно большой комнате горела елка и было приготовлено скромное угощение: пряники, конфеты, печенье, орехи. Комната битком набилась беженцами, сласти мгновенно были расхищены, а затем все стояли и смотрели на елку. Праздник, конечно, еще не чувствовался, организовать какие-либо игры никто не взялся, и в общем все прошло как-то вяло. Правда, многие из наших дам и барышень принарядились, надеясь встретиться с бароном, но он показался лишь на минуту и быстро исчез. Немного еще поели и разошлись.

На следующий день утром депутация из наших беженцев ходила к барону поздравлять его с праздником и благодарить за елку. В остальном день прошел, как всегда, а вечером состоялось общее собрание беженцев, внезапно принявшее очень резкий характер. Не помню уже, по какому вопросу, у большинства комитета произошло столкновение с Благодатским, принявшее сразу исключительно неприятное направление.

Председателю Васильеву с трудом удавалось вести заседание, так как взаимные резкости сыпались со всех сторон, причем один момент m-me Благодатская чуть на меня не набросилась с кулаками. С трудом удалось довести заседание до конца, приняв ряд постановлений, несмотря на протесты Благодатских и некоторых немногих их единомышленников. В результате немедленно после этого Благодатский подал письменное заявление о своем выходе из комитета. Васильев огласил его и назначил на следующий день новое собрание для выбора второго кандидата, так как на место Благодатского автоматически вступил П.М.Лебедев. Немедленно после этого у нас в комнате состоялось экстренное заседание комитета, причем было решено выставить кандидатами Лезевица и Альбера. Разошлись очень возбужденные. Комитет I-го состава кончил свое существование.

Комитет 2-го состава

(26 декабря 19 г. 11 января 20 г.)

26-го декабря произошли дополнительные выборы в комитет. При первом голосовании голоса разделились поровну, а во втором большинством двух голосов был избран Лезевиц. Таким образом, состав комитета был пополнен и жизнь пошла своим порядком. Лезевиц оказался чрезвычайно полезным сотрудником: спокойный, уравновешенный, прекрасный работник, он деятельно помогал нам в нелегком деле управления нашей колонией, в которой теперь еще появилась для нас яростная оппозиция в лице Благодатского с небольшой группой единомышленников, всюду старавшегося вставлять нам палки в колеса.

Приближалось Рождество ст. ст., которое решено было ознаменовать елкой с небольшой программой, причем решено было устроить скромное угощение и пригласить к нам барона с его домашними. Стали подготавливаться: составился хор, начались спевки и т.д. Постепенно создавалось праздничное настроение и появились новые интересы. К сожалению лишь, заболел Б.И.Васильев. Он уже давно прихварывал, но перемогался и даже 1 -го января ездил со мной в Изенгоф к м-г Оуес поздравлять его с Новым годом. Вероятно, во время этой поездки он еще больше простудился и 3-4го окончательно слег. Между тем в это же время папе удалось получить пропуск в Ревель, куда он и уехал. Пробыл он в отлучке два дня и вернулся оттуда в восторге. Он был там исключительно тепло и радушно принят нашими двумя покупателями К.Я.Ландсбергом и В.М.Штейнбахом, очень хорошо провел у них время и, что всего важнее, при их содействии ему удалось получить для всей нашей семьи полугодовое разрешение для проживания в Ревеле. Там же было решено, что ввиду переполнения Ревеля мы поселимся не в нем, а в местечке Немме, в 3-4 кил. от Ревеля, в пансионе, куда мы и переедем сейчас же после праздников. Человек предполагает, а Бог располагает: мы попали туда лишь через 1 1/2 месяца, пережив страшное время эпидемии сыпного тифа. Но в тот момент все казалось легко, и мы были в восторге. Папа привез с собою кое-какие продукты и лакомства и давно невиданную вещь полбутылки спирта, которым он решил угостить всех членов комитета в первый день праздника. К этому же дню вся наша колония решила вскладчину купить теленка, который должен был быть доставлен и разделен в сочельник.

Перед самым праздником у нас было “высокое” посещение.

Приехал эстонский министр внутр. дел Геллат, объезжавший беженские лагеря. Он обошел все наши помещения, очень внимательно все осмотрел, спрашивал, нет ли у нас претензий. Держал себя очень просто, поздоровался со всеми членами комитета за руку, прекрасно говорил по-русски, был вежлив и любезен. Совершенно не было похоже, как впоследствии мы узнали, что он был ярым шовинистом и что по его настоянию в июне будет произведен ряд высылки из Эстонии русских беженцев, в том числе и наша.

Наконец, наступил сочельник. Все мы эргично приготавливались к празднику. Накануне с разрешения барона была срублена и доставлена в дом большая ель и помещена в углу большой комнаты. У Капшаниновой оказались елочные украшения, свечи купили и получилась елка хоть куда. А вечером к нам должен был приехать священник, тоже беженец, живший недалеко на каком-то хуторе. Барон предоставил в наше распоряжение лошадь, и двое из членов нашей колонии поехали за священником. Их пришлось ждать довольно долго, так как из-за сильной метели они сбились с пути и с трудом доехали. Приехали лишь около 7 час. вечера. Священник, высокий, еще не старый человек с длинной темной бородой, наскоро выпил стакан чая и приступил к службе. Устроили импровизированный алтарь, т.е. стол, покрытый белой скатертью, с 2-3 иконами на нем. Все собрались и началась Рождественская всенощная. Составился импровизированный хор, довольно хорошо певший, а “Рождество Твое, Христе Боже наш” запели почти все молящиеся. Эта всенощная произвела на меня самое светлое и глубокое впечатление. И раньше и позже я присутствовал на многих церковных службах, часто блестящих и торжественных, но никогда я не был так потрясен и проникнут молитвенным настроением, как в этот Рождественский вечер, в глуши Эстонии, в убогой обстановке и в толпе скромных земляков беженцев, когда одинокий священник совершал Рождественские молитвы в сопровождении пусть неумелого, но проникновенного и старательного хора, при горячей молитве собравшихся людей, лишенных родины и стоящих на пороге совершенно неизвестного будущего. И я думаю, что не один я испытывал эти чувства. У всех было сосредоточенное внимание, многие плакали. Служба кончилась. Длинная вереница людей подошла к кресту, а затем священник пришел к больным Васильевым, благословил и поздравил их и, сопровождаемый общими

благодарностями, уехал. Сосредоточенные и серьезные мы разошлись по своим комнатам. Настало и Рождество. Уже с утра мы все постарались принарядиться, кто как мог. Я тщательно выбрился и вместо обычного свитера надел воротничок и один из двух, захваченных мною с собой галстуков. Утро прошло во взаимных поздравлениях и праздничных разговорах. А затем подошло время обеда, которого все с нетерпением ждали, так как он должен был у всех быть особенным. Еще накануне утром был привезен заказанный теленок. Лезевиц, вооруженный большим ножом, обнаружил внезапно способности мясника и прекрасно произвел раздел. Не обошлось, конечно, при этом без неизбежных споров и ссор из-за лучших кусков, хотя количество и иприблизительное качество порций каждого из участников было определено заранее и даже составлен особый список. Но кое-как разделились, и в первый день праздника все должны были лакомиться этим давно невиданным блюдом. У нас же это угощение имело еще более шикарный характер, так как папа пригласил весь комитет, кроме, конечно, большого председателя, на пирог с ливером и ревельскую водку. Все собрались в нашей комнате и с большим наслаждением выпили по 3-4 рюмки хорошей водки, закусывая ее очень недурным пирогом. Затем наши коллеги ушли, а мы еще до отвала ели хорошо зажаренный телячий окорок. Потом немного отдохнули и часов с 5 стали готовиться к вечернему празднеству. В большой комнате по возможности убрали всю лишнюю мебель и расставили скамьи и стулья перед пустым пространством для выступления “артистов”. Гости пришли часов в семь. Пришел барон, затем его брат, офицер, адъютант генерала Теннисона, приехавший в отпуск из Нарвы. Он был такой же рослый широкоплечий здоровяк, как и барон, даже еще выше, в военной форме с целым рядом ленточек различных орденов. Пришла экономка барона, управляющий с женой, еще два эстонских семейства, живших в этом же доме. Собралась, конечно, и буквально вся наша колония. Вечер начался с незамысловатой программы. Доморощенные артисты декламировали, танцевали, пели, соло и хором и т.д. Выступали с декламацией также папа и я, и с порядочным успехом. В заключение пели злободневные куплеты под гитару, отчасти сочиненные папой, как напр.:

“Жили мы в палатах, спали на матрасе,

А теперь в заплатах ловим вшей в Эррасе”.

Затем гостям было предложено скромное угощение. Для того, чтобы его создать, пришлось, так сказать, ограбить детей, так как оно состояло из какао и булочек и печенья из детской белой муки. Все расселись за длинными столами, было уютно, весело и непринужденно. Потом зажгли елку, опять поели, танцевали, играли в разные игры с фантами, поцелуями и т.п., причем барон и его брат принимали в них самое деятельное участие. Разошлись за полночь, все очень довольные.

Не думали мы тогда, расходясь по своим комнатам, что этим праздником закончилось все хорошее, что было в нашем Эрраском сидении и что для всех наступали ужасные дни. Нас подстерегала страшная эпидемия сыпного тифа, одной из первых жертв которого должен был пасть я.

Эпидемия сыпного тифа

(11 января 13 февраля 1920 г.)

Грозная эпидемия эта подошла к нам не внезапно. О ней давно говорили, с нею пытались бороться, но борьба эта была слишком трудной ввиду скученной массы беженцев, антисанитарного их состояния и массы вшей, страшных передатчиков тифа, покрывавших большинство беженцев. И мы тоже, как ни старались держать себя в чистоте, не могли вполне избежать этих гнусных насекомых, переползавших на нас от наших сожителей, многие из которых, к сожалению, являлись прямо-таки рассадниками этой гадости. Эпидемия вспыхнула первоначально в Нарве и, постепенно распространяясь, подошла к нам. В конце декабря или в начале января многочисленные заболевания появились в Изенгофе, где был образован временный госпиталь, к обслуживанию которого привлекли всех наличных врачей, фельдшеров и сиделок. Появились и смертные случаи, и небольшое Изенгофское кладбище стало заселяться пришлым элементом. Эпидемия разрасталась, но мы, тревожась в душе, всеми силами старались не думать о ней, все надеясь, что она минует Эррас.

9 января я ездил в Изенгоф получать подарки от Датского Красного Креста, представители которого туда прибыли. Получили после долгого ожидания кое-какие съестные припасы, немного одежды и пр. Вечером все это распределяли. Настроение у всех было грустное и подавленное, так как болезнь четы Васильевых внезапно резко

ухудшилась и заболели все их дети. Решено было на следующий день опять ехать в Изенгоф и привезти к нам врача. Приехал врач, молодой очень симпатичный немец, и к нашему ужасу констатировал сыпной тиф у всей семьи. Наше положение сразу изменилось. Поднялась общая паника и Васильевы сразу оказались в положении зачумленных. Все обитатели соседней комнаты тотчас же из нее выселились в другие комнаты и несчастные Васильевы были бы совершенно брошены беспомощными на произвол судьбы, если бы в доме управляющего не оказалась бы опытная сиделка, молодая симпатичная полька, уже перенесшая тиф и поэтому не боявшаяся заразы. Она самоотверженно взялась ухаживать за больными, причем на помощь ей была командирована прислуга Капшаниновой, тоже уже болевшая. Обоих поселили в соседней комнате, причем изолировать нас от них было невозможно, так как все приходилось проносить через нашу комнату. Мрачные легли в этот вечер спать, невольно гадая, кто будет очередною жертвой. Увы, ею оказался я.

10-го утром я почувствовал легкое недомогание, болела голова, слегка знобило. Я, однако, старался не обращать на это внимания, предполагая легкую простуду, и провел весь день, как обычно. Но уже на следующий день я не смог встать, так как температура сильно повысилась. Я пролежал весь день, лечась домашними средствами и все надеясь поправиться, все боясь даже думать о возможности тифа. 12-го у Васильевых опять был врач, так как состояние Б.И. становилось угрожающим. Он осмотрел и меня, но признаков тифа не нашел и предположил лишь инфлюэнцу. Меня стали лечить аспирином. Температура стала колебаться, то падая под влиянием аспирина, то повышаясь опять. И как потом оказалось, это лечение, конечно, бесполезное при бывшем на самом деле у меня тифе, настолько ослабило мое сердце, что чуть не свело меня в могилу. Настал следующий день, канун Нового года по ст. ст. Улучшения у меня, конечно, не было, температура держалась на 39 с лишком. А через комнату от нас умирал без сознания Б.И.Васильев. Никакие усилия спасти его не помогли, и в этот день 13-го января он скончался. Ужасные подробности его несчастная жена, сама больная, с больными детьми должна была несколько часов пролежать рядом с трупом, так как никто не решался подойти к ним, боясь заразы. Барон с трудом, угрожая револьвером, заставил своих рабочих сколотить гроб и внести его в комнату Васильевых, но положить тело в гроб отказывались все. Наконец, уже ночью, около полуночи, приехал к нам священник, служивший у нас всенощную под Рождество. Он пришел сначала к нам, отслужив

краткую полунощную службу на другой половине, поздравил нас с Новым годом, а затем бесстрашно прошел к Васильевым, с помощью сиделки положил тело Б.И. в гроб и сам его заколотил. На следующее утро барон опять угрозами заставил нескольких молодых беженцев вынести гроб и на санях отвезти его на кладбище в Изенгоф, где Б.И. навеки упокоился в безвестной могиле. Мир праху его!

А 15-го января определилась и моя судьба. Приехавший фельдшер к нашему общему ужасу обнаружил у меня на спине характерные пятна сыпного тифа. Он потребовал моей немедленной изоляции и поднял было вопрос об отправке всех больных в госпиталь в Изенгоф. К счастью, папе удалось добиться разрешения оставить больных, в том числе и меня, здесь, в соседней комнате, при условии полной изоляции этой части дома, включая и нашу комнату, так как из-за моей болезни вся наша семья становилась подозрительной по тифу и заключалась в карантин. Я, поддерживаемый сиделкой, с трудом перешел в соседнюю комнату и надолго водворился там. Уже на следующий день за мной последовали туда новые больные. Заболел младший сын Е.М.Михайловой, затем одна молодая беженка с годовалой дочкой, ее муж, приехавший к ней из Нарвы и сейчас же заразившийся, и, наконец, слегла неожиданно одна из сиделок, прислуга Капшаниновой, у которой, как оказалось, ранее был возвратный тиф, конечно, ее не предохранивший от сыпного. Но все эти новые поступления в наш "лазарет" я помню смутно. Температура моя все повышалась, далеко перейдя за 40, и сознание постепенно меркло. В полусознании встретил я день моего рождения 17-го января, с трудом ответил на поздравления родителей, а уже через несколько часов я окончательно впал в беспамятство и бред, которые почти без перерыва продолжались целых десять дней, во время которых доктора почти совершенно потеряли надежду на мое спасение и я неоднократно был на волосок от смерти.

Этот период оставил у меня очень странные воспоминания. Собственно, все это время я жил нереальной жизнью. Я приходил в себя лишь изредка на несколько минут, чувствуя укол от шприца с камфорой, которую в меня усиленно вливали и которая спасла мне жизнь, заставляя вновь работать слабеющее сердце. Случай тифа, как оказалось, был у меня исключительно тяжелый. Затем я снова впадал в бред. Но эти бредовые явления были

настолько ярки и жизненны, что многие из них так прочно врезались в мою память, что я хорошо помню их и теперь, спустя 10 лет. Так, например, очевидно, под влиянием холода комнаты, я видел себя замерзающим в маленькой хижине, которую я тщетно пытался отопить обледенелыми дровами. Затем я оказывался в лесу перед какой-то часовней, где горел яркий огонь, причем я знал, что огонь этот моя жизнь и я должен его защищать. А между тем на него надвигалось какое-то бесформенное темное пятно, стараясь его погасить. И я вступал с этим пятном в ожесточенную борьбу, брызгая в него какими-то душистыми эссенциями. При этом я ясно чувствовал, что задыхаюсь, что в моей груди напрягается словно бы струна, которая вот-вот лопнет. Затем пятно удалялось и напряжение слабело. И так повторялось несколько раз. Очевидно, это и были те критические моменты, в один из которых я мог незаметно для себя пе

рейти в небытие. Видел я себя в какой-то американской гостинице, где меня заставляли глотать какую-то жидкость. Должно быть, это было в моменты, когда сиделка поила меня бульоном и т.д.

Несколько раз я приходил в полусознание, всегда ночью, с ярким ощущением, что мне угрожает страшная опасность, от которой я должен немедленно бежать. Я с трудом поднимался с постели и, шатаясь и хватаясь за что попало, брел по комнате, добираясь до комнаты родителей. Там поднимали тревогу, зовя сиделку, я протестовал, требовал, чтобы меня пропустили, угрожал и, наконец, обычно падал на пол. Появлялась сиделка и увлекала меня обратно. Что переживали при таких сценах родители легко себе представить. Так в борьбе со смертью тянулись дни и ночи, пока, наконец, 27 января не произошел спасительный кризис, температура сразу спала и я пришел в себя.

Я хорошо помню это тусклое зимнее утро, когда с еще затуманенной головой я долго с недоумением вглядывался в белеющие четырехугольники окон и вдруг как-то сразу все осознал, понял, что со мной и где я нахожусь. Мои первые вопросы, обращенные к сиделке, были о семье, так как я почему-то вообразил, что умер папа, не хотел верить, что он жив и здоров, и успокоился лишь тогда, когда он заглянул в комнату, радостно поздравляя меня с приходом в сознание. Затем я попросил пенсне и зеркало, причем узнал, что одно пенсне я раздавил в бреду. В зеркало на меня глядело совершенно чужое лицо, худое, с впалыми глазами, обросшее густой вьющейся рыжей бородой, с которой, по словам мамы, я был похож на Уриэль Акосту. Слаб я был ужасно, не мог не только ходить, но даже подниматься без чужой помощи, при каждом усилии болезненно замирало сердце и темнело в глазах. Я узнал, что был спасен только огромным количеством камфары, влитым в меня, но невероятный десятидневный жар страшно ослабил мое сердце, которое давало себя знать еще многие месяцы, а окончательно оправилось лишь через 2-3 года.

Потянулись томительные дни выздоровления. Меня усиленно питали, главным образом молоком и американским салом, которое я поглощал с огромным аппетитом. Силы постепенно восстанавливались, но появилось новое мучение, страшная боль в пальцах ног, которые жгло как огнем, так что малейшее прикосновение одеяла вызывало у меня мучительные стоны. Несколько ночей я провел почти без сна, так как боль эта особенно усиливалась ночью. В довершение всего была больна годовалая дочь одной из беженек, и ее постоянный жалобный плач, не дававший мне уснуть, ужасно на меня действовал. Да и стоны, раздававшиеся кругом, также оставляли гнетущее впечатление. Все больные выздоравливали одновременно и почти у всех так же болели ноги, как у меня, так как это было обычное наследие сыпного тифа. И эти бесконечные вечера и ночи, в темноте, лишь при слабом свете керосиновой коптилки, до сих пор ярко стоят у меня в памяти.

К счастью, это продолжалось недолго, дней пять, а затем боль у всех как-то сразу пропала. Общее настроение поднялось, начались разговоры, строились планы на будущее. Кроме Б.И.Васильева все больные остались живы, и новых заболеваний пока не было. Раза два-три в неделю нас навещали доктор или фельдшер. Оба очень обрадовались моему выздоровлению, так как потеряли

уже почти на это надежду. Родители и Николаша не заболели каким-то чудом, так как комната их сообщалась с нашей, врачебному персоналу приходилось постоянно проходить через нее, проносить все нечистоты и т.д. Они жили в ужасных условиях, отрезанные от всех, с трудом и плохо отапливая свою комнату сырыми дровами, скудно питаясь молоком и картофелем, под непрерывным страхом заболевания. Но Провидение сохранило всех нас. Мале того. Из Риги внезапно пришло письмо от Леонт. Карл, с известием, что брат Борис попал в плен к латышам, освобожден на поруки Ашманов и живет у них в Риге. Общей нашей радости, конечно, не было границ.

Наконец, я получил разрешение встать и сидеть у окна. Пришлось вторично учиться ходить; ноги не слушались, пол уходил изпод них, и я лишь с трудом добирался до окна. В сад пришли беженцы из другой половины дома, уже собиравшиеся было меня хоронить, а теперь радостно меня приветствовавшие. Выздоровление мое пошло теперь быстрыми шагами, силы возвращались, и я уже готовился вернуться к родителям, как внезапно тиф нанес нашей колонии новый удар. Одновременно заболели супруги Гавловские, Благодатские с девочкой и все Лебедевы, жившие вместе в одной комнате. На этот раз по категорическому распоряжению врача, чтобы пресечь, по возможности, дальнейшее распространение эпидемии, все заболевшие были направлены в больницу в Изенгоф, причем Благодатский, бывший в этот момент крепче других, сам должен был управлять лошадью. Я видел их отъезд из окна. Кучка оставшихся беженцев грустно провожала печальный кортеж, предчувствуя, что многие уже не вернутся. И действительно, дней через 10, уже под Ревелем, мы получили письмо от Линден с известием о смерти Гавловского, Благодатского и брата и сестры Лебедевых. Остальные выздоровели. Мой карантин пришел к концу. 9 февраля доктор признал меня окончательно выздоровевшим и разрешил на следующий день вернуться в комнату родителей. Ужасное время моего тифа окончилось.

Отъезд из Эрраса

(10-13 февраля 1920)

10-го февраля утром я был выпущен из нашего “госпиталя”. Прежде всего сиделка тщательно меня вымыла. Должен сказать, что долгая болезнь, во время которой мужчины и женщины помещались в одной комнате, установила между всеми крайне простые отношения, как-то притупив стыдливое стеснение друг перед другом. Да и жили все мы в общем животной жизнью. И теперь я спокойно дал себя вымыть, почти не испытывая при этом никакой неловкости. Затем, закутанный в простыню, я, наконец, на законном основании перешел в комнату родителей. О том, с какой радостью и сердечностью был встречен я, как бы воскресший из мертвых, распространяться не приходится. Меня основательно накормили, а затем папа, раздобывший откуда-то машинку для стрижки волос, наголо остриг меня, прошелся ею также и по бороде, а остальное сделала бритва. Сбриты были и усы, и на меня опять глядело чужое лицо, только вместо Акосты теперь это было лицо толстого римлянина. Но отсутствие усов мне совсем не шло, и недели через две я снова их отрастил. Стрижка волос, впрочем, им не помогла, и я в короткое время потерял половину моей и без того не густой шевелюры, а затем этот печальный процесс пошел, хотя и более медленно, но уже безостановочно.

Теперь нужно было постараться как можно скорее уехать. В Ревеле нас ждали, для нас была приготовлена комната в пансионе, но на пути к нему стояло еще одно очень серьезное препятствие. Весь район считался зараженным, и, чтобы выехать из него, нужно было получить разрешение врача, жившего в Изенгофе. Не теряя времени папа отправился туда на лошади барона, но после долгого и мучительного ожидания вернулся ни с чем. Врач отказался пока выдать нам пропуск, разрешив лишь приехать к нему еще раз 12-го, когда он обещал дать окончательный ответ. Остаток этого дня, весь день 11-го и часть 12-го мы провели в тоскливом ничегонеделании, в мучительном ожидании, строя всякие, большей частью фантастические, планы на случай отказа врача. Был у нас даже проект обратиться за помощью к американцам. Но, к счастью, ничего не понадобилось. 12-го врач очень легко дал разрешение, и мы лихорадочно стали готовиться к отъезду, собирая наш скудный скарб во вновь извлеченные наши многострадальные мешки.

Прошла последняя наша ночь в Эррасе, конечно, от волнения очень плохо нами проведенная, настало утро, и мы уже окончательно собрались. Поезд шел лишь поздно вечером, но мы выехали уже в 3 час., чтобы только быть подальше от этого тифозного гнезда. Очень сердечно распрощавшись с бароном и уцелевшими беженцами, собравшимися нас проводить, мы взгромоздились со всеми нашими пожитками в сани и навсегда простились с Эррасом. В Изенгофе мы просидели несколько часов у Бояринова, который с семьей занимал маленькую комнатку, пили у него чай. Затем, часов в 9, отправились на станцию, где тоже пришлось ждать еще пару часов, так как поезд запоздал. Наконец, касса открылась, папа предъявил разрешение и взял билеты, и даже II класса (невиданная роскошь). Подошел поезд, и мы с нашими мешками полезли в вагон, причем нас туда сначала не хотели пускать, думая, что мы по ошибке лезем во второй класс. В вагоне было довольно свободно, и меня удалось даже уложить, так как я был еще слаб и совершенно измучен. Свисток, гудок, поезд тронулся, и

Изенгофский район с его тифозными кошмарами навсегда остался позади. Впереди был Ревель, начиналась новая, культурная жизнь, новый этап нашего беженства, уже последний в Эстонии.

Прибытие в Ревель и переезд в Немме

(14 февраля 1920 г.)

Около 7 час. утра 14 февраля наш поезд прибыл в Ревель. Замелькали освещенные окна большого здания вокзала, поезд остановился, мы вышли и перешли в залу I-го класса. Большая, чистая зала, обильный и разнообразный буфет, яркий свет, много прилично одетой публики, все производило на нас, одичавших и отвыкших от культурной жизни, странное и дикое впечатление. Мы, с нашими мешками, грязные, в поношенной одежде, совсем не гармонировали с окружающими. Часа полтора мы просидели на вокзале, с удовольствием выпили кофе с булочками, а затем папа отправил Николашу и меня к нашему покупателю К.Ландсбергу, торговавшему под фирмой "Георг Мейер". Мы вышли из вокзала на довольно большую площадь, от которой радиусами расходились улицы. Прямо перед вокзалом за этой площадью высился высокий холм, увенчанный древними стенами и башнями, за которыми виделись шпили нескольких лютеранских церквей и громада красивого златоглавого православного собора. Это был Вышгород, средоточие всех высших правительственных учреждений, Кремль Ревеля.

Дорога нам была разъяснена, и мы довольно скоро добрались до большого магазина Ландсберга. Его самого не было, и нас приняла его дочь Александра Константиновна, высокая красивая барышня с милым открытым лицом и большими добрыми глазами. Она встретила нас чрезвычайно радушно и просила поскорей доставить сюда родителей и вещи. Мы вернулись обратно на вокзал, забрали свои мешки и вскоре оказались опять в магазине. Теперь и сам К.Я. Ландсберг, высокий, худощавый, седой с маленькой бородкой, очень подвижный старик, был там. Он также встретил нас очень любезно. Он довольно свободно, хотя и с акцентом, говорил по-русски, дочь же его в совершенстве владела несколькими языками, в том числе и русским. Он был немцем, но и он, и его дочь были православными. Ландсберг тотчас же пригласил нас провести день у него и лишь вечером ехать в пригород Ревеля Немме, где для нас были сняты две комнаты в пансионе. В сопровождении Ал. Конст. мы отправились. Ревель в общем был похож по типу на Нарву, но гораздо больше. Узкие кривые улицы, небольшие в большинстве случаев дома, много старинных зданий. Хороших магазинов было немного, выставки в них не отличались роскошью, но нам после пережитого все казалось очень хорошим. Народу на улицах было много, все большей частью прилично одетой публики, много военных. Трамвая в городе не было, лишь автомобили и извозчики, но и расстояния-то были небольшие. Мы довольно скоро добрались до дома Ландсбергов, небольшого двухэтажного деревянного здания с чистенькими и очень уютно обставленными комнатами. Нас встретила г-жа Ландсберг, небольшого роста полная добродушная эстонка. Несмотря на то, что она говорила только по-эстонски, и мы могли объясняться только при помощи дочери, она приняла нас очень любезно и сразу сошлась с мамой, горестно вздыхая и вытирая слезы, когда дочь передавала ей о наших злоключениях. Еще раз пили кофе, а затем Ал. Конст. повела папу и меня в банк, где служил другой его покупатель В.М.Штейнбах. Штейнбах, маленький, кругленький пожилой господин, типичный немец, очень дружески приветствовал папу и пригласил нас к себе на ужин. Погуляли еще по городу, еще раз зашли в магазин Ландсберга и вскоре с ним самим отправились к ним обедать. Обед был простой, но очень сытный, причем радушные хозяева угощали нас вовсю. Затем опять гуляли по городу, записались в библиотеку и взяли оттуда книги для чтения и, наконец, вечером перебрались на квартиру Штейнбаха. Он жил в гораздо большей, хорошо обставленной квартире со своей гражданской женой и старой сестрой. И здесь нас ожидал самый радужный прием и роскошный, по нашим понятиям, ужин с обильной выпивкой, с непривычки порядочно бросившейся нам в голову. Кроме Ландсбергов присутствовал еще некто г-н Шлюцке, хороший знакомый хозяев, еврей-биржевик. Время прошло очень весело, и после 9 час. вечера мы в сопровождении почти всей компании были шумно доставлены опять на вокзал и посажены в вагон небольшого дачного поезда. Шумное, веселое прощание, и мы опять поехали. Но на этот раз мы ехали всего около 1/4 часа и оказались у небольшой станции Немме. Дорогу нам объяснили, и мы минут через 10 добрались до довольно большой дачи, расположенной в сосновом лесу. Это был пансион Шейбе. Нас встретила сама хозяйка, типичная старая немка, которая и провела нас в две довольно большие, смежные комнаты, чисто и уютно обставленные.

Нам хотелось только спать, и мы с громадным наслаждением растянулись в чистых мягких постелях, радуясь всему зеркалам, культурной обстановке, электрическому свету и т.д., и очень быстро заснули.

Пансион Шейбе

(15 февраля 30 апреля 20 г.)

Двухсполовиномесечное пребывание наше в пансионе было бедно событиями и яркими переживаниями. Мы жили там в культурных условиях, прилично питаюсь, отдыхали от всех ужасов последнего Эрраского периода, но в общем жили однообразно и скучновато, не всегда находя, чем убить время. Так жили, впрочем, и все постояльцы пансиона, с большинством которых мы очень хорошо сошлись и дружно жили. Их я подробно охарактеризую ниже. Распорядок дня в пансионе был следующий. Утром в неопределенное время кофе с маслом и кое-какими закусками, но со своим хлебом. В два часа обед из двух блюд, довольно приличный, но несколько недостаточный для наших appetitов. В пять часов снова кофе, опять со своим хлебом, и в восемь часов ужин из одного горячего блюда.

В первый день мы сошли к кофе рано, когда никого из пансионеров еще не было, а затем до обеда сидели в своей комнате, стесняясь своих костюмов и не решаясь пока вступать в сношения с остальными обитателями. Но прозвонил звонок к обеду, и волейневолей скрепя сердце пришлось идти вниз. Обедали на большой отапливаемой веранде, причем большая часть публики сидела за большим столом, для нас же были поставлены приборы на отдельном круглом столе. Мы раскланялись с присутствующими, которых было человек двенадцать, и молча ели свой обед, стесняясь вступать в разговор. Но остальные постояльцы пошли сами нам навстречу. Едва успел окончиться обед, как к нам первым подсел высокий красивый старик с седыми усами, в военном френче, которого мы приняли за бывшего генерала. Он завязал оживленный разговор с папой, другие пансионеры подошли тоже, мы перезнакомились, начался общий разговор, и лед был сломан. Опишу теперь прежде всего наших новых знакомых, с большинством которых мы прожили все время у Шейбе, а с некоторыми продолжили знакомство и дальше.

Начну с семейства Мейер, главой которого и был вышеописанный "генерал". Георгий Карлович фон Мейер балтийский немец из Риги, уже старик, но чрезвычайно живой, любезный и общительный господин, пользовавшийся общими симпатиями и бывший как бы главою кружка обитателей пансиона. В прошлом он был крупным лицом, правда не генералом, но управляющим отделениями Государственного Банка в разных городах, человек с большими средствами в прошлом, остатки которых, по-видимому, еще у него сохранились. Он сразу очень сошелся с папой. Его жена Елизавета Карловна была гораздо менее симпатична. Типичная немка, холодная и скупая, она распространяла вокруг себя замораживающую атмосферу и вечно была чем-нибудь недовольна и брюзжала. С ними был сын Георгий, молодой человек, бывший паж, потом служивший где-то в штабе у Юденича, хлыщеватый юноша с развязными манерами, очень ограниченным умом и практической беспомощностью вырождающегося дворянина.

Затем в пансионе жило семейство неких Гейдеман, тоже русских немцев, имена их я забыл. Сам г-н Гейдеман был высокий красивый мужчина, чисто выбритый, английской складки, очень корректный и джентльмен в полном смысле слова. С ним была еще молодая, очень красивая жена и трое детей, две девочки и мальчик. Младшая девочка, очень похожая на мать, была болезненным, капризным существом, двое же старших славные ребяташки, очень привязались ко мне, и я подолгу возился с ними.

Третья семья, с которой мы особенно близко сошлись, была русская семья доктора Евстафьева. Сам К.А.Евстафьев был еще совсем молодой человек, но уже проживший пеструю и разнообразную жизнь военного врача, сначала в русской армии, а затем в гражданскую войну ему удалось пристроиться врачом же во французский легион в Архангельске и эвакуироваться оттуда с семьей в Ревель, а затем в Немме, куда его послали из-за болезненного сына. Это был на редкость милый, сердечный человек, единственным недостатком которого была лишь чересчур большая разговорчивость. Его жена Алекс. Георг. была также очень милая, симпатичная дамочка. Маленький их сын, Жоржик, кажется, 3 лет, только что перенесший какую-то серьезную болезнь, первые недели нашего пребывания в Немме производил впечатление совсем умирающего ребенка. Не по-детски молчаливый и серьезный, бледный, худой, какой-то словно восковой, он почти совсем не мог ходить и

вызывал к себе общую глубокую жалость. Но прекрасный сосновый воздух Немме сотворил над ним чудо, и к концу нашего пребывания у Шейбе он уже почти совсем оправился и стал нормальным ребенком.

Вторая русская семья Николаевы также были с нами в хороших отношениях. Муж был типом грубоватого, но симпатичного чиновника. Жена, Матрена Николаевна, пожилая женщина с копной черных с проседью волос на некрасивом смуглом лице особенно сошлась с мамой, подолгу с ней беседуя. С ними был сын гимназист, бесцветный подросток.

Кроме этих четырех семейств в пансионе жили также и одиночки, большею частью недолго. Из всех их я вспоминаю только молодого симпатичного эстонца и так называемую "генеральшу", маленькую, язвительную, вечно недовольную пожилую особу с острым, словно что-то все время вынюхивающим носом. Она почему-то отличалась симпатиями к большевикам, очень удивлялась, что мы бежали из России, и неоднократно советовала нам туда вернуться. Как мы, так, кажется, и все остальные пансионеры терпеть ее не могли и старались держаться от нее подальше, что, впрочем, было довольно трудно, так как она упорно ко всем лезла.

Чтобы убить получше время и в гигиенических целях, я старался побольше гулять. Само Немме было маленьким дачным местечком, очень чистеньким и симпатичным со словно бы игрушечным вокзалом. Оно со всех сторон было окружено прекрасным сосновым лесом и отличалось особым целительным воздухом. Николаша, напр., приехавший туда с катаром легких и жестким дыханием, в три месяца совершенно излечился. Мне же пришлось подлечивать сердце, жестоко потрепанное тифом. Но и оно мало-помалу пришло в порядок. Родители чувствовали себя хорошо.

Неоднократно и с большим удовольствием я ходил пешком в Ревель за какими-нибудь покупками и менять книги в русской библиотеке, где мы абонировались. Ревель был настолько близко, что достаточно было подняться на соседний холм, чтобы увидеть его как на ладони, увенчанным Вышгородом с далеко видимыми куполами православного собора. Небольшой переход по полю и начиналась длинная улица предместья с деревянными домами и тротуарами, постепенно улучшавшимися по мере приближения к центру города. Затем следовала довольно большая Петровская площадь с красивым памятником Петру I посередине, а там близок уже был и центр города, очень в сущности небольшого. Заходил всегда в магазин Ландсберга, болтал с ним и с его дочерью, всегда очень любезно меня принимавшими, гулял по городу и, наконец, или опять пешком, или же иногда и поездом возвращался обратно в пансион обедать.

После обеда обитатели пансиона обчно играли в карты, большей частью в бридж. Принимал участие в этих играх и папа, иногда и я. Игроки в большинстве были средние, но играли с большим интересом. Остальное время дня лежали, читали, играли в карты друг с другом в своей комнате и вообще убивали время как могли.

Так как деньги папы постепенно убывали, то ему пришлось подумать о приискании новых средств. На наше счастье, нашей фирмой были перед революцией переведены в Швецию довольно крупные деньги за заказанный товар, который в Петербург так и не попал. Часть денег осталась в Стокгольме, а товар застрял в Финляндии, и папа начал теперь шаги, чтобы получить в Ревель и деньги и товар. В Ревеле как раз жил представитель этих шведских фирм Лео Лебедев, хорошо знавший папу по Петербургу, и он оказал всю необходимую помощь в начавшихся переговорах. Кроме того папа попытался обратиться с просьбой о субсидии в Англию к фирме Th. Firth & Sons, у которой наша фирма покупала крупно с момента своего основания, но получил оттуда холодно-вежливый отказ.

С Ландсбергами и Штейнбахами мы все время поддерживали сношения и виделись довольно часто. Несколько раз они звали нас к себе в Ревель, очень радушно там принимая, были и у нас в пансионе, причем папа заказывал тогда отдельный ужин у нас в комнате. Хотя продажа спиртных напитков и была воспрещена, но милейший доктор Евстафьев прописывал спирт кому-нибудь из нас как лекарство, и таким образом он доставался. Видимо, так поступали все, потому что и у Ландсбергов и Штейнбахов в нем никогда не было недостатка, и наши взаимные приемы проходили всегда очень уютно и весело. Особенно хорошо бывало у Ландсбергов. Хотя сама m-me Ландсберг и не могла с нами объясняться, но она распространяла вокруг себя радушие и уют, в чем ей деятельно помогала и милая Александра Константиновна. Да и сам К.Я., молчаливый и суровый на вид, был прекрасным человеком, с которым нас связали самые искренние нити дружбы.

Так мало-помалу окончилась зима, наступила весна, подходил к концу Великий пост и приближалась Пасха. Наши сожители решили встретить великий праздник разговлением по подписке, в которой решил принять участие и папа. Но вставал довольно драматический вопрос о наших костюмах, очень мало подходивший к торжеству. И так мы по состоянию нашего гардероба могли, по выражению папы, для того, чтобы отметить праздник, только "одеть чистые воротнички и застегнуть пиджаки". Но и этот-то гардероб за все злоключения нашего беженства пришел в очень печальный вид. Для того, чтобы привести его в мало-мальски приличное состояние, решено было отдать наши костюмы в чистку и утюжку местному портному, а так как заменить наши единственные костюмы было нечем, то тот, чей костюм был в ремонте, должен был просидеть целый день в комнате "под домашним арестом" в пальто, надетом прямо на белье. Этим трагикомическим эпизодом закончилась Страстная неделя.

В ночь под Пасху, придав себе, насколько только могли, "парадный" вид, мы около двенадцати часов спустились на веранду, где уже был готов празднично убранный стол и собралась наша колония. Большинство было нарядно одето; дамы в вечерних туалетах, фон Мейер в смокинге, Евстафьев в визитке и т.д. Один лишь Гейдеман поступил истинно по-джентельменски. Зная, что у нас кроме пиджаков ничего нет, он из солидарности с нами тоже пришел в простом черном костюме, каковым поступком очень нас тронул.

Разговление прошло дружно и весело. Угощение было очень приличное, включая и пасху и куличи, спирта было вволю, и эта первая Пасха на чужбине оставила у меня очень хорошие воспоминания.

В первый день Пасхи мы были приглашены в Ревель на завтрак к Ландсбергам и на ужин к Штейнбахам. Конечно, и там и там всего было вволю, все очень вкусно, хозяева милы и гостеприимны, было очень весело, и мы вернулись в Немме в порядочном подпитии и очень веселом настроении, провожаемые на вокзал к поезду почти всем составом гостей Штейнбаха, с ним во главе. В один из последующих дней папа ответил Ландсбергам и Штейнбахам завтраком в Немме, также очень весело прошедшим.

Между тем время шло, а деньги из Швеции все не приходили, а так как уже стало совсем тепло, то папа решил в целях экономии оставить довольно дорогой пансион, приискать какую-нибудь маленькую дачу и зажить в ней своим хозяйством. Приступили к поискам и очень быстро сняли верх маленькой дачки, помещение, правда, очень маленькое, но зато дешевое. Распрощались с нашими сожителями, с большинством которых мы, впрочем, с этим переездом и не разлучились, забрали наши пожитки и 30 апреля перетасили их в наше новое жилье. Колония наша в пансионе, впрочем, быстро распалась. Евстафьевы и Мейеры тоже по нашему примеру сняли себе помещения в дачах недалеко от нас, семья Гейдеманов в начале мая уехала в Нарву, а Николаевы в Ревель. Так закончился наш период пансиона Шейбе и начался последний двухмесячный период как жизни в Немме, так и в Эстонии.

Дача

(1 мая 26 июня 20 г.)

Дача, верх которой мы сняли, и сама по себе была очень небольшой, верхний же этаж ее и совсем был миниатюрный. Он состоял из маленькой комнаты, где поместились родители, и крытой веранды, где спали Николаша и я, настолько низкой, что до ее потолка легко было достать рукой. Между этими помещениями был проход, где помещалась маленькая плита и все наше незатейливое кухонное хозяйство. Подниматься к нам нужно было по почти отвесной узкой лестнице, что было очень неудобно, особенно когда приходилось таскать ведра с водой, дрова и т.д. При даче был маленький садик, часть которого была отделена для нас. Конечно, все было неважно, но дешево и для лета терпимо.

Устроились мы быстро. Пришлось, конечно, кое-что прикупить из посуды и разных мелочей, и дело наладилось. Мама стала хозяйничать, угощая нас своей незатейливой стряпней и рискуя иногда даже делать блюда из теста, причем в этих случаях она каждый раз страшно волновалась. Хозяева наши были симпатичные, тихие и незаметные люди. Достать в Немме можно было все необходимое отчасти на базаре, отчасти в довольно многочисленных лавках. Публики в Немме стало прибывать, весна окончательно вступила в свои права, и жить на даче стало очень приятно тем более, что мы не порвали сношений с семьями Мейер и Евстафьевых, виделись с ними почти каждый день, гуляли, играли иногда в карты и просто сидели друг у друга в саду. Часто появлялись у нас и кто-нибудь из Ландсбергов. К.Я. часто приходил по воскресеньям пешком из Ревеля, и мы,

проснувшись, обнаруживали его в своем саду. Раза два в мае приезжала Александра Константиновна. В середине мая папе, наконец, улыбнулось счастье, и он получил из Швеции перевод в 2000 шв. крон. Это были очень порядочные деньги и пришли они очень вовремя, так как личные средства папы уже иссякали, и ему даже пришлось сделать заем у Ландсберга. Папа хлопотал также о перевозке в Ревель находящихся в Финляндии 10 000 шт. пил и кое-каких других товаров, намереваясь вложить их в дело Ландсберга и самому вступить туда компаньоном, с чем Ландсберг уже был принципиально согласен. Бог знает, как сложилась бы наша дальнейшая жизнь, если бы планы эти осуществились. Но судьба судила иное, мы попали в Латвию, и компаньона папа получил совсем другого.

Живя на даче, папа стал иногда покупать и читать рижскую газету "Сегодня", и однажды, просматривая объявления, наткнулся на публикацию фирмы "Т-во И.С.Смоленков и И.И.Жиглевич. Рига". Обе эти фамилии были нам хорошо знакомы. И.С.Смоленков был в Петербурге нашим главным конкурентом, имея торговлю напротив нашей, а И.И.Жиглевич был нашим покупателем во Пскове. Заинтересовавшись, папа написал в Ригу письмо Смоленкову, рассказав в нем вкратце о нашей эпопее и прося на всякий случай позондировать почву о возможности переезда в Латвию и присоединении к делу Смоленкова-Жиглевича, ибо это казалось нам интереснее, чем вести дело с Ландсбергом, да и хотелось переехать в большой город, каким была Рига по сравнению с Ревелем и где жил Борис и наши друзья Ашманы. Вскоре папа получил от Смоленкова обстоятельный и очень любезный ответ, причем Смоленков ничего не имел против вступления папы в его дело, запрашивал о нас разные необходимые сведения и обещал начать хлопоты о визе в Латвию. Сведения были ему посланы, и мы стали ждать результатов его хлопот.

После получения денег из Швеции настроение наше очень поднялось, а тут как раз подоспели именины папы и Николаши (22 мая нов. ст.), и папа решил их как следует отпраздновать. Ввиду того, однако, что дача наша могла вместить лишь немного народа, да и мебели и посуды у нас было в обрез, пришлось принимать гостей в два приема. В самый день именин были приглашены жители Немме: Мейер и Евстафьев. Был сооружен очень недурной ужин с достаточным количеством выпивки. Вечер прошел очень весело и оживленно. Особенно был в духе Г.К. фон Мейер. Он был на днях утвержден в латвийском подданстве, собирался переезжать в Ригу, обещал там похлопотать о нашей визе, расцеловался на прощание с папой, и все разошлись очень веселыми. Через два дня, в воскресенье, были приглашены ревельцы: Ландсберги, Штейнбах и Шлюцке. Этот вечер прошел еще веселее и закончился общей игрой в стуколку, причем Шлюцке смешил всех до колик.

Прошло еще несколько дней, и вдруг в последних числах мая мы были поражены одним утром известием о внезапной смерти от разрыва сердца Г.К. фон Мейер. Известие это было нами очень тяжело принято. Мы сжились с этим симпатичным человеком, сдружились с ним, и скоростная его смерть глубоко нас опечалила. Вдова и сын покойного, конечно, были глубоко потрясены, и маме пришлось много утешать Е.К. ф. Мейер. Через день тело покойного было перевезено в Ревель для погребения. Провожала его вся наша колония. Смерть Г.К. словно бы поставила грань нашей жизни в Эстонии. В один прекрасный весенний день 9-го или 10-го июня папа уехал в Ревель с Николашей, а мама и я сидели в саду и наслаждались солнцем и теплом. Внезапно в калитку вошел эстонский полицейский и под расписку вручил нам предписание в недельный срок покинуть пределы Эстонии. Это распоряжение ударило нас как обухом по голове. Когда подошел срок возвращения папы, я помчался на станцию, чтобы передать ему эту весть. Папа сначала отнесся к ней спокойно, сочтя ее за недоразумение, но когда он на следующий день опять побывал в Ревеле, то вернулся в настроении близком к панике. Полиции, по-видимому, на основании какого-то доноса из большевистских кругов, было поручено выселить обоих Мейер, нас и еще целый ряд "нежелательных" иностранцев, т.е. главным образом русских, причем если бы мы не нашли, куда выехать, то нас должны были доставить по этапу на советскую границу и выдать большевикам, т.е. на верную смерть. Положение создавалось отчаянное, вопрос шел о нашей жизни или смерти, и приходилось принимать экстренные меры для нашего спасения. С одной стороны, наши ревельские друзья пустили в ход все свои связи и знакомства, чтобы добиться отмены или хотя бы отсрочки приказа о нашей высылке. С другой стороны, папа послал отчаянное письмо Смоленкову в Ригу с просьбой любыми средствами добиться для нас визы в Латвию. И потекли для нас тягостные дни ожидания, во время которых мы переходили от надежды к отчаянию и не находили себе места. Мысль о том, что все хлопоты могут оказаться тщетными и мы, с

тяжелыми лишениями спасшиеся от большевиков, спасшиеся от эрраского тифозного кошмара, можем оказаться выданными тем же большевикам на расстрел, казалась чудовищной, но, увы, эта опасность была слишком реальной! Мы пытались строить другие планы спасения, вплоть до самых фантастических, но сами сознавали, что планы эти не имели под собой почвы и что петля на нас затягивается все туже и туже.

Но вот блеснули первые лучи реальной надежды. Ландсбергам удалось получить для нас отсрочку на 10 дней, что уже давало время для хлопот в Риге. Оттуда тоже пришло успокоительное письмо от Смоленкова с выражением надежды, что все удастся устроить. Мы немного успокоились. Тем временем Мейеры уехали в Ригу, обещав со своей стороны также сделать там для нас все возможное. Прошло еще 2-3 дня и вдруг, как якорь спасения, пришла телеграмма от Смоленкова, что виза в Латвию нам разрешена. Можно представить себе нашу радость. Мы были спасены, мы опять могли жить! Радость эта несколько омрачалась мыслью о предстоящей разлуке с нашими друзьями, с которыми мы так сжились, о неизвестной жизни, которая нас ожидала в Латвии, но все заглушалось чувством спасения.

Последние дни в Эстонии прошли в хлопотах об отъезде. Мы получили выездную из Эстонии и въездную в Латвию визы, папа дал распоряжение в Финляндию направить его пилы в Ригу и, наконец, мы взяли билеты до Валка, назначив наш отъезд на 27 июня. Промелькнул Иванов день с его песнями и гуляньями, которые мы наблюдали уже как чужие этому краю, и настал, наконец, последний день нашего пребывания в Немме. Мы обошли всех знакомых, все места наших прогулок, простились, так сказать, с Немме и провели на нашей даче среди упакованных вещей последнюю, конечно, почти бессонную ночь.

Отъезд из Немме и Ревеля

(27 июня 1920 г.)

Утром 27 июня мы простились с хозяевами дачи и отправились на станцию. Выглядели мы уже гораздо приличнее, чем при приезде сюда. Мы были одеты в приличные новые черные костюмы, сшитые в Ревеле у портного Ландсберга, на головах новые спортивные фуражки, в руках чемоданы, а не наши многострадальные мешки. Главная масса нашего имущества шла багажом в большой корзине. Одним словом, все было вполне прилично.

Быстро промелькнула короткая дорога, и вот мы в последний раз в Ревеле. Отправились, конечно, к Ландсбергам. Поезд шел лишь в 9 час. вечера, и перед нами был еще целый воскресный день. Провели его в дружеской беседе, обедали, снялись прощальной группой на дворе и, наконец, часов в 6 вечера отправились на ужин к Штейнбаху. Там собрались все наши ревельские друзья и знакомые. Ужин прошел в самой дружеской и милой атмосфере. Говорились очень хорошие сердечные речи, надеялись скоро опять свидеться, крепкие рукопожатия, поцелуи и, наконец, настало время отправляться. Провожаемые буквально всеми, мы двинулись шумной компанией пешком на вокзал. Поезд уже стоял у перрона, и мы уселись в полупустой вагон III класса. Последние приветствия; поезд тронулся, и мы оставили за собой Ревель и всех наших друзей. Долго еще виделись на горизонте купола православного собора на Вышгороде, но вот и он скрылся в сгущающихся сумерках. Поезд, ускоряя ход, шел прямо на восток, словно везя нас обратно в Россию, такую родную, но и такую страшную. Наступала ночь, последняя наша ночь в Эстонии.

Отъезд из Эстонии и прибытие в Ригу

(28-29 июня 1920 г.)

Около 1 ч. ночи наш поезд подошел к большой узловой станции Тапс, откуда он должен был перейти на другую ветку. Стоял он там почти час. Была светлая теплая летняя ночь. Мы прогуливались по перрону, перекидываясь короткими фразами, нервничая в ожидании дальнейшего пути. Но вот, наконец, мы поехали дальше. Теперь мы ехали на юг, по направлению к границе, к Латвии. Спать не хотелось; я смотрел в окно на однообразные пейзажи, мелькавшие передо мной. Взошло солнце, и ранним утром мы подъехали к тихому сонному городу Юрьеву. Поезд здесь стоял недолго, и мы только успели выглянуть за пределы вокзала. Поехали дальше. Живописный городок с красными черепичными крышами и древними кирхами остался позади. Вскоре поезд опять переменял направление, пошел на запад и в 9 час. утра подошел к станции Валк, где нам предстояло ждать 12 час. поезда в

Латвию. Валк в то время еще целиком принадлежал Эстонии, и временная граница проходила километрах в 10 к югу. Вокзал был большой и хороший. Мы напились кофе, а затем старались убить тоскливое время как только могли. Ходили смотреть город, расположенный километрах в двух от вокзала. Он производил очень чистое и приятное впечатление, причем так как в нем жило много латышей, то вывески на магазинах были на двух языках и под эстонским "kauplus" (магазин) виднелось латышское "tirgotava". Уже под вечер на вокзал явился таможенный чиновник, произведший осмотр нашей корзины, очень поверхностный. Держал он себя при этом вполне корректно.

А затем мы стали опять считать минуты, с напряжением ожидая вечера. Но вот, наконец, подали состав, открыли кассу, и мы, взяв билеты, Опять погрузились в вагон. Публики было мало, и здесь мы впервые услышали латышскую речь, такую отличную от эстонской и новую тогда.

Около 10 час. вечера поезд, наконец, тронулся и медленно пошел к границе. Вскоре за окном мелькнули последние пограничные здания, силуэт эстонского часового. Поезд замедлил ход и остановился. Мы вылезли. Прямо перед нами было небольшое здание, к которому вели ворота и палисадник. У меня как-то на всю жизнь сложилось впечатление, что именно войдя в эти ворота, мы вошли в Латвию, хотя, конечно, на самом деле мы границу переехали раньше. В маленькой зале мы очутились перед двумя офицерами пограничной охраны. Они просмотрели наши документы, на хорошем русском языке опросили о цели нашего прибытия и предполагаемом местопребывании и разрешили брать билеты и садиться в латвийский поезд. Тут же на дворе таможенный чиновник опять поверхностно осмотрел нашу корзину и чемоданы и сам даже помог мне снести корзину к поезду и сдать ее в багаж. На радостях папа взял билеты 2-го класса, и мы прекрасно устроились в пустом купе мягкого вагона. Поезд вскоре тронулся. Я так устал, что почти сейчас же заснул и проснулся лишь уже утром за Зегевольдом. Еще час езды, и мы подъехали к Риге и въехали под своды теперь такого знакомого вокзала. За стеклянной дверью мелькнуло родное лицо брата Бориса, который с нашим приятелем А.А.Ашманом встречал нас. Мы устремились к нему. Беженство наше окончилось, начиналась новая оседлая жизнь, сначала на положении эмигрантов, а затем и латвийских подданных. Мы обзавелись семьями, создали себе свою особую жизнь, а папе через 14 лет суждено было встретить здесь свою смерть и лечь в чужую латвийскую землю. Но все это было впереди, а сейчас мы вышли из вокзала на площадь нового для нас города, и бодро и радостно пошли навстречу новой жизни, новым радостям и горестям.

Конец.

Рига, 14 октября 1936 г.